

# Иван Федорович Наживин Кремль

*Земля Русская, да  
сохранит ее Бог. В этом  
свете нет такой  
прекрасной земли. Да  
устроится Русская  
земля.*

*Тферьской купец  
Афанасий Никитин*

## 1. Державцы земли русской

Было веселое летнее утро. Из великокняжеских хором вышло вдруг блестящее парчой, яркими красками аксамита и золотом шествие. Впереди всех, величаво опираясь на посох, шел великий государь всея Руси Иван III Васильевич. Это был высокий, суховатый мужчина лет под сорок, с темной бородой, с большим, красивым, сухим, с горбинкой носом и огневыми глазами, которые улыбались очень редко, не смеялись никогда, но легко наливались черным огнем гнева, тогда взгляда их не выносили даже мужественные сердца. Одет великий государь был

в драгоценный парчовый кафтан, на голове был соболий колпак, а на ногах расшитые жемчугом сапоги. Справа от него, несколько отступя, шел его сын и наследник, Иван Молодой, простоватый на вид парень с наивными веснушками и белесыми ресницами. Он любил говорить о своих немощах. Москвичи не любили его и звали промеж себя то «бабой рязанской», то «ни с чем пирог». Слева от государя, слегка согнувшись от годов и почтения, шел бывший окольный его отца, Василия Темного, Иван Васильевич Ощера и, шамкая, что-то рассказывал государю. За ними медлительно и важно в высоких горлатных шапках, опираясь на подоги, шла блестящая свита из князей и бояр. Впереди всех красовался сам князь Иван Юрьевич Патрикеев, потомок великого князя литовского Гедимина, небольшого роста старик с сабельной зарубкой на сухом надменном лице и узкой, уже белой бородой. Рядом с ним величественно выступал зять его, могучий красавец с большой и умной головой и с пышной русой бородой во всю грудь, князь Семен Ряполовский-Стародубский. Беклемишев, человек роду невысокого, но умница, прозванный за свой задор Берсенем — по-тогдашнему крыжовник, колючий куст, — рассказывал что-то князю Даниле Холмскому. Князя Шуйский и Курбский и боярин Кошка, из рода Кобылиных, внимательно слушали. Несколько

в стороне от них, стараясь сдерживать смех, шел княжич Андрей Холмский с дружкой своим Василием Патрикеевым, молодым красавцем с нервным хмурым лицом, украшенным небольшой русой бородкой. Он чуть косил, и эта легкая косина почему-то придавала ему в глазах женщин особое обаяние. Его не любили за его высокомерие и сухость, и только с Андреем Холмским был он мягок и открыт: они были дружны с детских лет... За боярами виднелись плоские, раскосые, с оттопыренными ушами лица татар. После битвы на Куликовом поле золотой век для них на Руси кончился, и теперь баскаки держали себя на Москве умненько, скромно, в сторонке... Тут же виднелось и несколько дьяков, которые в жизни государственной и непосредственном окружении великого государя играли большую роль: уповательно, неприлежность наших предков в довольном изучении грамоты была тому причиной. Не только многие бояре, но даже иногда и великие князья писать не умели, а когда нужна была подпись их, ставили свою печать, а другие, вымарав руку чернилами, делали отпечаток ладони на бумаге: «руку приложил», значит... За дьяками пестроцветной толпой, в платьях чужеземного покроя шли строители и художники, фрязи — итальянцы, которые производили теперь на Москве по поручению правительства большие постройки: Аристотель

Фиораванти, уроженец Болоньи, ведал постройкой Успенского собора, а Антон да Марко стоял на постройке кремлевских стен. Хитрецы заморские вызывали в Москве всеобщее удивление: они умели и соборы ставить, и пушки лить, и кирпич обжигать, а когда требовалось, то по их же рисункам отливали из сахара разных зверей, птиц и башни для столового кушания великого государя. Фиораванти — среднего роста, сухощавый, с бородкой клинышком и застланными глазами — получал за свои труды целых десять рублей в месяц, деньги по тем временам огромные...

— А ну, Аристотель, покажи-ка нам, как твои дела в соборе подвигаются... — останавливаясь, проговорил Иван. — Давно я что-то на постройке у тебя не был...

Фиораванти, еще плохо владевший русским языком, посмотрел на толмача. Тот перевел ему слова государя. Фиораванти почтительно склонился перед великим князем и повел всех на постройку.

Успенский собор был поставлен еще Иваном Калитой, но уже так обветшал, что москвичи опасались посещать его. Сперва поручили было починку его русским строителям, но, как только стали они выводить своды, все завалилось. Фиораванти первым делом поставил таран, чтобы разрушить все сделанное москвитянами. Собор стоял еще в лесах. Москвитяне целыми часами

зевали на работы и по привычке своей все находили не так...

Не успело сверкающее на солнце шествие свернуть к собору, как нищий со страшными красными глазами — он за дерзкий язык был известен всей Москве под кличкой Митьки Красные Очи — быстро подкатился к великому государю и пал на колени:

— Батюшка, милостыньку Христа ради...

Иван чуть дрогнул бровью, — он не любил нищих и вообще бездельных людей, — но перекрестился и подал тому медную монетку:

— Прими Христа ради...

— Вот спасибо тебе, солнышко ты наше, кормилец... Дай тебе Господи...

Старый Василий Ощера, славившийся своею книжною хитростию, откашлялся и сказал:

— Вот, сказывают, великий государь, один человек усердно творил милостыню и на конец того скончался.

И приведен он был к огненной реке, по другую сторону которой простиралось место злачно и светло зело и различным садовием украшено. Но нельзя было никак перейти реку ту. И вот вдруг появилось великое множество нищих и перед ногами его начаша кластися по ряду и сотвориша мост через страшную оную реку, он же пройде по них в чудное то место. Вот как милостынька-то

считается, великий государь!

— Так, так... — неопределенно отвечал Иван, не любивший таких божественных побасок. — Бывает...

Шествие остановилось у собора. Повсюду копошились рабочие. Пахло сырým камнем, известью, пылью. Внутри собора была поставлена маленькая деревянная церковка, дабы служба не прерывалась ни на один день. Это очень мешало работам, но было угодно Господу...

— Ну, спасибо тебе, Аристотель... — сказал Иван. — Вижу, что умелый ты мастер. Старайся, а за наградой дело у меня не постоит... А теперь пойдемте твердыню нашу посмотреть...

И мимо церквей, монастырей, боярских хором, блистая празднично на солнце, шествие медлительно направилось к вновь возводимым стенам Кремля. Узкие улочки были полны челядью с конями, поджидавшей своих господ. Они от скуки дрались, ругались, приставали к прохожим, давали зевакам подножку и всячески безобразили. Гвалт над этим табором всегда стоял ужасный...

Впервые городок был поставлен тут в 1156 году. «Князь великий Юрий Володимирович, — говорится в тверской летописи под этим годом, — заложи град Москву на устни же Неглинны, выше реки Аузы». Потом крепость была перестроена Иваном Калитой из чудовищных дубов. До аршина

в отрубе! Но стены эти были уничтожены страшным пожаром 1365 года. На их месте Дмитрий Донской возвел новые, каменные стены, но они уже не отвечали времени: появились первые пушки. Иван III повелел воздвигнуть новые стены. Начата работа была от Тайницкой стрельницы — «башня» слово татарское, а москвитяне звали их стрельницами, — с Ордынской стороны, от реки, откуда шли все нападения татар. Стрельница эта раньше называлась Чешковой: рядом с ней был двор боярина Чешека, галичанина родом. Теперь стрельницу называли Тайницкой потому, что фрязи сделали тут тайный ход к реке на случай осады... И куда глазом ни кинешь, теперь, в это веселое утро, вокруг всего Боровицкого холма, как муравьи, копошились у стен тысячи работного люда. Надсмотрщики немцы — в Москве немцев было уже немало — и фрязи покрикивали на них, смешно ругались по-русски и отвешивали низкие поклоны великому государю...

Откуда взялось слово «кремль» — никто не знает. Одни утверждают, что происходит оно от слова «кремь» — так в старину назывался особенно хороший бор, который иногда растет «гривой» среди леса обыкновенного. Самое название Боровицкого холма показывает, что тут в старину бор был особенно хорош, был кремью. Другие, опираясь на то, что в старые годы кремль звался

также и кремником, производят слово это от кремня. Но есть и такие, которые думают, что слово это произошло от корня «кром»: в стороне стоящий, у-кром-ный. Псковский кремль Кромом и назывался...

Нищие так и липли к великому государю, что мухи осенние.

— Батюшка, кормилец, ради Христа...

Он терпеливо раздавал медяки: так требовал хороший тон.

На холме, над Тайницкой башней, блестящее шествие остановилось: отсюда тоже был виден и строящийся Кремль, и сама Москва. Это была огромная деревня. Среди запутанных улиц ее виднелись кулижки, болотца, старые могильники, в которых находили старинные арабские монеты, взгорья, всполья, вражки, крутицы, кочкарник. По холмам виднелись ветряки, а по речкам Неглинной да Аузе шумели водяные мельнички. В заречье много садов было — так то место Садовниками и звалось... Подводы с великим криком и проклинательством — подъем от реки был крутенек — возили на стройку песок, глину, воду, кирпич.

В этом растущем из земли городе Иван видел символ своей растущей мощи. Русь болела о ту пору порабощением извне, от татар, литовцев и поляков, и от внутреннего раздробления. И тем не менее все чувствовали, что силы ее нарастают с

каждым днем. Умный хозяин-вотчинник, Иван понимал, что богат, силен и славен он может быть только на челе богатой, сильной и славной Руси, и теперь, когда на его глазах из недр Боровицкого холма кирпич за кирпичом поднималась новая твердыня, укрепа всему царству Московскому, он чувствовал, как горделиво бьется его властное сердце и как выше поднимается его сухая, красивая голова. Он пришел в благодушное настроение — с ним это случалось не часто, — и, идя вдоль поднимающихся силушкой народною стен, он милостиво беседовал с боярами.

— А что же это ты нам, княже, не расскажешь, как ты со своими псковитянами воевал?.. — обратился он к князю Ярославу Оболенскому, которого он недавно отозвал из Пскова.

Тот смутился; он надеялся, что государь уже забыл об этой дурацкой истории.

— Да что, великий государь, все дело с моего барана началось, — сказал дородный князь, вытирая пот с лица цветною ширинкой. — Ехал, вишь, мимо моих хором какой-то изорник с возом капусты, а мои шестники у ворот языки от нечего делать чесали. Один из них взял с воза кочан да и бросил моему барану. Смерд завопил, сбежался народ, и началась, как водится, драка. И весь город против моих шестников поднялся. Они схватились

за мечи и сабли и...

— Да и ты, сказывают, не отставал... — улыбнулся Иван. — Такой, сказывают, отпор псковичам дал, что они не знали, куды и кинуться...

Князь смущенно усмехнулся в свою большую сивую бороду. В тот день он был крепко навеселе и, когда треклятые псковичи подняли этот гвалт, он надел кое-как броню и вместе с шестниками стрелял в бунтующую толпу. Иван, несмотря на жалобу псковитян, умышленно оставил его там еще на полгода — чтобы не больно зазнавались — и только теперь вызвал его в Москву, а на его место послал князя Василия Васильевича Шуйского.

Блистающее шествие медлительно шло вдоль стен к Фроловским воротам. Местами стояла такая вонь, что все только шапками горлатными покачивали: работный народ поневоле все свои нужды отправлял тут же, под стенами. Стрельницу над Фроловскими воротами — их звали также и бойницами, а в Новгороде костром — начали уже ломать.

— А на этой стрельнице часозвоню надо будет поставить... — сказал государь. — Чтобы на всю Москву играла и всем на торгу время бы указывала...

— Фрязи, они хитрые... — отозвались голоса. — Они тебе что хошь придумают...

— И на всех стрельницах потом орлов золотых поставим... — продолжал, радуясь, государь. — Переведи им слова мои.

Фрязи, выслушав, почтительно склонились перед владыкой.

Впервые двуглавый орел в качестве герба своей державы был принят знаменитым князем Даниилом Романовичем Галицко-Волынским, который повелел на высотах вокруг Холма воздвигнуть каменный столп, а на нем утвердить орла. Москва приняла двуглавого вскоре после женитьбы Ивана на византийской царевне Софье, которая как бы принесла его с собой в приданое, в дар от погибшей Византии молодой Москве...

— Батюшка, милостыньку-то Христа ради...  
Кормилец... Убогеньким-то...

И опять, перекрестившись, государь раздал несколько медяков.

Медленно прошло шествие мимо кипящего справа на площади торго, и, повернув влево, берегом Неглинной, все снова вышли к Тайницкой стрельнице и опять залюбовались широким видом на пестрое, в зеленых садах, Замоскворечье. Иван Молодой вытирал пот и жаловался Василию Патрикееву на стеснение в грудях, и в глазах его была истома... Князь Василий едва делал вид, что слушает его... А вокруг весело играли на солнышке золотые и пестрые купола церквей, в сияющем небе

бежали белые караваны облаков, а на реке стояла суета и работный шум: черный народ разгружал тяжелые барки, подводы с криком подымались в гору, сердито и смешно ругались немцы и фрязи...

И в последний раз Иван окинул своими темными огневыми глазами и столицу свою неудержимо растущую, и встающий из земли точно по волшебству Кремль, твердыню ее, и снова почувствовал он у души своей крылья орлиные, и горделивая радость залила его сердце...

## II. Мрежи

В Неревском конце Новгорода, неподалеку от богатой садьбы Марфы Борецкой, вдовы и матери посадника, на берегу мутного Волхова, в небольшом, чистеньком домике отца Григория Неплюя, собрались его дружки потолковать о вере. Тут были и отцы духовные, и миряне, и простые житьи люди, и сын посадника боярин Григорий Тучин. Всего искателей этих собралось в сенях человек десять. Всех их объединяло одно: сомнение в истинности веры православной. Но в переднем углу, для отвода глаз, висели образа и среди них новгородский Деисус, то есть Спаситель на престоле, по бокам которого стояла Божья Матерь и Иван Креститель...

Новгородско-псковской край исстари был

очагом свободной религиозной мысли. Уже в 1311 году на Переяславльском соборе была осуждена отцами ересь какого-то новгородского протопopa, который порицал монашество и считал земной рай погибшим навеки. Протопop нашел единомышленников не только среди мирян, но даже среди епископов, но тем не менее его лжеумствования были осуждены. Не успели отцы разделаться с протопopом, как в Пскове вспыхнула новая ересь, стригольников. Они отрицали иерархию, обряды и такие важные догматы, как воскресение, и верили в непосредственное общение с Богом каждого человека. Главный грех их был, конечно, отрицание иерархии. Отрицали же они ее, главным образом, потому, что все духовные чины ставились на мзде, на святокупстве и что они, в свою очередь, вымогали все, что могли, с живых и с мертвых и вели жизнь недостойную. Отвергали стригольники даже храмы: «Молитися Христос втайне повеле, не молитися на распутиях и на ширинах градных». Прежде всего, руководителей движения — во главе их был Карп, «художеством стригольник», диакон Никита и один неизвестный — отцы утопили в Волхове, а утопив, стали опровергать их лжеучение. Больше всего их оскорбляло, что еретики отвергали их, отцов и учителей: «Что ся твориши главою, нога сый? — восклицали они с негодованием. — Не сказал ли

Григорий Богослов: овцы, не пасите пастухов...» И святители советовали не только еретиков не слушать, но и от града их отогнати, по Писанию: «Изверзите злое от себя сами — мал квас все вмешение квасит».

Послания святителей против лжеумствующих не преставали, но псковичи извещали владык: «Еретики тверды — на небо взирающе, там себе Отца нарицают», то есть, другими словами, никак не хотят признать пастухов стада бессловесного. Все же усилиями отцов ересь была загнана на долгое время в подполье. Но тут в Новгород прибыло по торговым делам из Киева несколько жидов; несмотря на все стеснения, в Киеве они порасплодились-таки. Среди них был большой законник Схария. По всем видимостям, он был последователем арабского философа и астролога Аверроэса — или Ибн Рашида — и его современника, арабского еврея Моисея Маймонида, которые оба были ревностными учениками Аристотеля. В беседах о вере с отцами духовными Схария так поразил их, что они не только сами заколебались в вере, но увлекли за собою и многих других. Вскоре на помощь Схарии приехали еще два жидовина: Шмойла Скарывый да Моисей Хапуша...

Новые вольнодумцы в великих усилиях устанавливали основы своей новой, совсем еще

неясной веры, раскалывались на партии, снова сливались в одно и снова раскалывались. Постепенно стали все же намечаться общие положения нового вероучения. Еретики не признавали Христа за сына Божия, но лишь за пророка, вроде Моисея: «Прост человек есть: истле в гробе, яко человек, а не воскресе, не възнесесе, не имать прийти судити человеком». Они отрицали Троицу, утверждая, что Бога не три, а один. Они отвергали будущую жизнь, таинства, святых, мощи, посты, монашество, все обряды. Их скоро прозвали жидовствующими: их сношения с евреями были замечены и использованы для восстановления против них народа, который евреев ненавидел, ибо они, как известно, распяли Христа. Впрочем, некоторые из новозаветных, наиболее горячие, хотели даже обрезаться, поп Алексей переименовал себя в Авраама, а попадью свою в Сарру, иные будто праздновали вместо воскресения субботу. Но в общем обвинения их противников, что они «жидовская праздноваху и жидовская жряху», вызывает некоторое недоумение, ибо в основе вероучения самих церковников ничего, кроме «жидовская», и не было. Во всяком случае, если бы Аристотель вернулся на некоторое время из царства теней на берега Волхова, он, вероятно, был бы немало изумлен при виде того, какие странные плоды дала его мысль века спустя на болотах

новгородских!..

Косо смотрели православные и на «законозвездие» еретиков, которым они заразились от Схарии, жившего в Киеве «с астрологы». Тогда это законозвездие было весьма распространено и по всей Европе, и даже многие попы прилежали чародейству сему и над всеми этими волховниками, сонниками, зеленниками, громовниками, звездочетцами потели не меньше других...

— Путаница во всем... — проговорил боярин Григорий Тучин, маленький человек с тихим, смуглым лицом, украшенным темной бородкой, скромно, почти бедно одетый. — Православные вот именуют собрание верующих церковью, а у жидов собрание верующих зовется кагалом, а церковью, по-эллински экклезиа, зовется у эллинов просто народное собрание — вроде как вот у нас на вече, на дворе Ярославле...

Григорий Тучин часто и подолгу ходил с товарами за море, но там не столько торговал, сколько всему жадно поучался. Из «гостьбы» своей он привозил немало всяких книг, и о нем начали уже поговаривать, что он «зашелся еси в книгах».

— Это нам разбирать не к чему... — сказал Овдоким Люлиш, художеством ливец, то есть золотых и серебряных дел мастер. — Пуцай они зовут себя как хотят. Беда не в этом, а в том, что людей они запутали. Раз Христос меня, по-ихнему,

искупил начисто, значит, я могу грешить как хочу. Ни с чем это не сообразно. А потом: сперва Господь дал диаволу человеком по пустякам завладеть, а потом, погубивши, послал за него Сына Своего на муку лютую!.. По-моему, Христос был такой же человек, как и все, а не полюбился он державцам да попам, вот они его, как стригольников, и убили... Все это плетение словес пустое — к чему надобны мрежи эти?..

— Как был я на Москве, — вступил в беседу Некрас Рукавов, своеземец, хуторянин-собственник, седой и крепкий, как дуб, — довелось мне слышать среди чернецов прение о вере. Они говорили, что в вочеловечении Христа явлено нам-де смотрение Божие, яко Бог премудростию прехитри диавола да всех верующих в он спасет. Бог к хитрости-де прибегал и ране: жидами прехитри Он фараона и поругася ему и изведе люди своя из работы египетской и якоже воплотився, прехитри диавола, поругася ему и изведе вся верующая в он из ада.

— Может, такие прехищрения и пригожи торговому человеку, ну а Богу... — развел черными руками Люлиш, и в глазах его проступили скорбь и гнев. — Нет, запутались люди в мрежах, которые сами же на свою погибель языками непутными наплели!

— А другие твердят, что у Христа и плоти-то

никакой не было, — вставил дьяк Самоха, жирный, с сонным, умным лицом и черной окладистой бородой. — А был Он, вишь, как видение сонное...

— Этому и манихеи учили, — сказал боярин Тучин. — А Василид Египтянин учил, что Христос был бесплотен, что страдать Он не мог, а что распят был вместо Него Симон Киренеянин. Валентин же признавал плоть Христову божественной и снесенной с небес: «Христос прошел, — говорил он, — чрез Марию Деву, якоже сквозь трубу вода». Нетленномнители учили, что тело Христово нетленно, и потому...

— Кто в лес, кто по дрова! — безнадежно махнул рукой Люлиш. — Все это в огонь бросить надо. Надобно к правде наострять сердце свое.

Тучин задумчиво рассматривал образа в переднем углу в хороших кузнь-окладах, а особенно образ Богоматери с Младенцем на руках. И ему вспомнилось древнее изображение женщины с ребенком, которое было у римлян символом рождающегося солнца... И в тихую, углубленную душу боярина повеяло тайной...

— Да, да... — рассеянно вздохнул хозяин, поп Григорий, плотный, с буйною растительностью на лице и на голове и с маленькими умными медвежьими глазками. — Вчерась задумался я что-то над Евангелием, над Тайной вечерей. Там сказано, что Христос омочи хлеб в вине и подал его

Иуде и с той-де минуты вошел в того сатана. Как это понимать надо? Почему с той минуты? Неужели же от хлеба, Христом поданного, может в человека вселиться сатана? Зачем же нужно было Христу губить так несчастного? Ох, темно, темно! Может, Люлиш и прав: лучше собрать все эти писания жидовские да в огонь и бросить. Может, кто нарочно все это напутал, чтобы над людьми посмеяться, а мы вот мучимся...

— Да разве это только? — усмехнулся Тучин, не любивший Библии. — А грязи всякой сколько... Ведь иной раз без стыда чести не можно.

На мосту послышались вдруг быстрые шаги, и в сени вошел Самсонко, сын отца Григория: он стоял у ворот на страже, чтобы кто чужой не захватил беседы врасплох.

— Батюшка, там к воротам подвернул духовной какой-то... — сказал он. — Словно сам отец Евфросин скопской.

— Негоже дело... — вставая, сказал отец Григорий. — Да ничего не поделаешь...

Евфросин-игумен, худенький, весь прозрачный старичок, кряхтя, вылез из возка, оглядел халат свой, весь забрызганный грязью осенней, и покачал головой: эка, угваздался как!.. И, забрав немудрящий узелок свой с пожитками непыратыми, все кряхтя, полез на мост.

— Отец Евфросин, сколько лет, сколько

зим! — радушно приветствовал его отец Григорий. — Ну и порадовал! Здорово, родимый...

Они облобызались троекратно. Пока отец Григорий не ушел в ересь, он очень дружил с суровым Евфросином, уважая строго подвижническую жизнь его и великое рвение к вере.

— Ну, как ты тут здравствуешь, отче Григорие? — прошамкал отец игумен.

— Да живем, хлеб жуем... — отвечал тот. — Ползи давай, ползи... А ты, милой, — обратился он к забрызганному до бровей глиной вознице, — давай заворачивай во двор: коням овса дашь позобать, а сам в избу иди, подкрепишься... У меня тут кое-кто из дружков моих собрались, — предупредил он старого игумена, — о делах наших новгородских потолковать... Ползи, отче святой...

Евфросин невольно на пороге остановился: сени были полны гостей. Кроме Тучина, Евфросин не знал никого.

— Ничего, ничего, отче, то все свои... — сказал отец Григорий. — Давай разоблокайся... А потом попадья поснедать тебе что Бог послал соберет...

— Нет, нет, того, отче, не надобно, — сняв свой халат, поднял Евфросин свои сухие ручки. — Ты мое положение знаешь, просвирочку да маненько водицы утром — и конец... Ну,

здравствуйте, новгородцы...

Все по очереди подошли под благословение.  
И снова расселись...

— Слышали, слышали мы тут о псковских смутах-то ваших... — проговорил отец Григорий. — И у нас не спокойнее...

— Сего ради и приехал я к владыке нашему... — сказал Евфросин. — Сладу со смутотворцами нету... Вы, чай, слышали все про Столпа: был попом, овдовел, а чтобы опять жениться, сложил сан, и опять овдовел, и опять женился... А теперь привязался ко мне: зачем ты аллилугию не двугубишь? Как, говорю, зачем? Я к самому патриарху в Царьград за этим ездил, и он повелел мне сугубить... И в такой гнев вошел сей троеженец, сей распоп окаянный, что весь Псков против меня поднял. Едут которые псковитяне мимо монастыря моего и шапок не снимают: здесь еретик-де живет, который святую аллилугию сугубит! А я так прям ему и сказал: не просто Столп ты теперь, а столп мотылен<sup>1</sup> и вся твоя свинская божественная мудрость — путь к гибели... Пущай владыка разберет дело наше, пусть даст людям устройство... Вы только подумайте: на самого константинопольского

---

<sup>1</sup> Навозный.

патриарха глаголят уже хульная, и разгневаясь, и воскресхта зубы, аки дивий зверь или лютый волк скомляти начат.

— Ну, пожалуй, теперь владыке не до твоего аллилугия, отче... — усмехнулся отец Григорий. — Тут Москва такого аллилугия задать Новгороду хочет, что...

Все переглянулись с усмешкой. Евфросина поразил неуважительный тон попа к святому аллилугию: нешто попу пригоже говорить так о святых вещах? И вообще во всем тут старому игумену чудилось что-то неладное. Недаром Самсонко у ворот чего-то караулил... Он пожевал бескровными губами.

— А зря вы тут с Москвой все задираетесь... — сказал он скучливо. — Москва бьет с носка, как говорится...

— Это все большие бояре крутят... — сказал дьяк Самоха. — Одни с Марфой Борецкой под Казимира литовского тянут, а другие за Москву. Вот и идет волынка. Те, которые за Москву да за старую веру тянут, послали по какому-то делу посольство к великому князю, и послы, не будь дураки, стали Ивана государем величать, хотя по пошлине новгородцы его всегда только господином величали. А москвичи рады, сичас же ухватились: какого-де вы государства хотите? А тут литовская сторона подняла на дыбы все вече: никакого

государства мы у себя не хотим, а хотим жить по старине. И такая-то буча поднялась, беда! Которых в Волхов побросали... А великий князь, известно, опалился: и Софья его премудрая, и советники его, рядцы, развратницы придворные, поддержали, что обидеться-де самое время.

— Ну, он и сам не лыком шит!.. Не клади пальца в рот, а то откусит...

— Это что говорить!..

— Зря, зря... — покачал высохшей головой Евфросин, хотя постоянные наскоки Москвы на Псков и ему надокучили. — С сильным не борись, как говорится. Забыли, знать, что недавно-то было...

Лет шесть тому назад Иван III, видя, что новгородцы все больше склоняются на сторону его недруга Казимира, вдруг вборзе двинул полки свои на Новгород, и князь Данила Холмский на берегах Шелони вдребезги разнес силу новгородскую, хотя москвичей было всего четыре тысячи — то был только головной полк, — а новгородцев под начальством посадника Дмитрия Борецкого сорок тысяч. Правда, новгородский владыка, играя на обе стороны, приказал своему полку — у владык был и свой полк, и свой стяг — в поле-то выйти, а в битву не вступать. Литовская партия тщетно ждала подхода Казимира. В Новгороде стало голодно: подвоз хлеба с Волги, «с низу», был Иваном

прекращен. Новгородцы запросили мира. Иван повелел всем четверым полководцам новгородским отрубить головы, взял с новгородцев пятнадцать тысяч окупа, вече и посадника оставил им по старине, но взял себе право верховного суда. И люди с нюхом потоньше поняли, что это начало конца.

— А ты толкуешь: аллилугия!.. — повторил отец Григорий. — Не пришлось бы скорее со святыми упокой петь... над вольностью новгородской, над Господином Великим Новгородом... — дрогнул голосом отец Григорий. — Иван этих наших шуток новгородских не понимает...

Гости между тем под разными предложениями расходились. Сразу было заметно, что незваный гость помешал...

— Ну, вы тут как хотите с Москвой разделяйтесь... — сдержав зевок, проговорил Евфросин. — Мое дело тут сторона: не о земном мы, пастыри, пещись должны, но о небесном.

Собрание расходилось. За дверями все что-то с хозяином низкими голосами уговаривались: должно, опять что-то замышляли. Евфросин уже сожалел немного, что старые кости свои с места стронул; ты гляди, как наблошнились тут все языком-то вертеть. Понятное дело, что им до аллилугия!..

— Охо-хо-хо... — вздохнул он сокрушенно. — Суетимся вот, терзаемся, то да се, а жить-то всего с овечий хвост осталось: пасхалия-то на исходе. А там и свету вольному конец...

— Не все так, отче, полагают... — мягко возразил отец Григорий. — На том, что с концом седьмой тысячи лет от сотворения мира и свету конец, согласны все, да вот откуда считать-то начинать?

— Как откуда? — сердито воззрился на него старый игумен. — Окстись, отец!.. Что ты? Знамо, от сотворения мира...

— А сотворение-то мира когда было? — сказал отец Григорий, уже сожалея, что начал этот разговор. — Эллины считают, что сотворение мира было за пять тысяч пятьсот восемь лет до Рождества Христова, а по Шестокрылу выходит всего три тысячи семьсот шестьдесят один. Стало быть, в тысяча четыреста девяносто втором году миру-то будет не семь тысяч лет, а только пять тысяч двести пятьдесят три...

А боярин Григорий Тучин, выйдя, задумался тем временем на берегу Волхова.

«Вера... — думал он, глядя в мутные волны реки. — А вера эта только собрание глупых сказок жидовских, грецких да болгарских. Это ими закрыли попы на века от народов учение Христово. Черная туча поповская страшнее тучи татарской,

что вот уже двести лет над Русью висит. И все множатся больше и больше: поп или монах всюду, куда ни пойдешь. И бестолочью своей отравляют всю жизнь... Они не виновны, что слепые сами? Так, не виновны. Никто себе не злодей. Да ведь вот червь, что в этом году на зеленую вершину пал и все пожег, тоже ведь не виновен, а кабы было средство какое, разве не уничтожили бы его земледельцы?..»

### III. Марфа Борецкая

Уже с середины XV века Великий Новгород стал заметно хиреть. Вся его внутренняя жизнь превратилась, по выражению летописца, в «междоусобные спирания»: «Крич и рыдания и вопль, и клятва всеми людьми на старейшина наша и на град наш, зане не бе в нас милости и суда права». Партии грызлись одна с другой без конца. Но народ устал от обманов вожаков, во всем изверился, ибо и слепым стало видно, что, кто бы из вящих власть ни захватил, мизинным людям остается одно: вези. Мало того: когда Мамай прислал численников, чтобы и новгородцев обложить данью, мизинные люди воспротивились, а вящие убежали все на Городище — местопребывание князя — и оттуда вместе с татарами собирались брать город приступом. Ясно было, что для вящих отечество только до тех пор отечество, пока им в нем тепло.

После многих таких наглядных уроков патриотизма меньшие люди поняли их наконец, и потому, когда их высылали против врага, они бежали даже тогда, когда их выходило десятеро против одного; драться было просто не за что.

Соседушки старой республики, конечно, не дремали. С юга теснили и опустошали землю литовцы, а с моря — шведы, немцы и датчане. Всякий предлог был хорош. Шведский король Магнус Эриксон, отличавшийся чрезвычайным распутством, желая понравиться своим любезным верноподданным, вдруг обнаружил чрезвычайную ревность к подвигам апостольским. Он послал в Новгород посольство: «Пришлите на съезд ваших философов, а я пришлю своих, и пусть говорят о вере. Если ваша вера окажется лучше, то я иду в нее, а если наша, то вы идите в нее. А не хотите быть в единении, буду воевать с вами всеми силами». Новгородцы своих философов к его величеству не послали, но вполне основательно посоветовали ему обратиться в Царьград. Он доброго совета не послушал, и — началась война...

Москва стояла у дверей старой республики. Правда, то не немцы были, не литваки, не шведы, а свои же православные русские люди, но больно уж не любо было вольным новгородцам московское насиливание! Москва потихоньку уже захватывала одну новгородскую область за другой. Новгород

потерял уже Вятку, Приуралье, обширное Заволочье — области по Северной Двине — Волок Ламский, Торжок, Вологду, Бежецкий Верх, а новгородцы по-прежнему «безлепотно волнуящиеся и крамоляху...».

В крамолах этих Новгород быстро слабел. Отцы — они любили-таки постращать овец своих бессловесных — пустили в ход всякие «знамения» и чудеса. Но и знамения уже не помогали. Соседей против угасающей республики двигал уже не только волчий аппетит, но и простая забота о личной безопасности. Если раньше из Новгорода то и дело отраивались дружины удалых повольников, чтобы добыть себе богатства, а Великому Новгороду славы, если они раздвинули пределы его до Ледовитого океана и стояли уже на самом пороге необъятной Сибири, то теперь повольники — бедняки, которым деваться было некуда, да беглые холопы — превратились в простых разбойников, и пьяные шайки их без всякого зазрения совести нападали уже на русские города, как Ярославль, Кострома, Нижний, грабили их, в полон продавали неверным, а города пускали дымом. Защищаясь, Москва должна была вести с этим постоянным разбоем неустанную борьбу, истощая русские силы без конца...

Едва ли не первую скрипку в смуте играла неугомонная Марфа, вдова посадника Исаака

Борецкого. Ее богатая и многолюдная усадьба на берегу Волхова кипела всякими заговорами и кознями. Небольшого роста, плотная, крепкая старуха, богатая чрезвычайно, могла бы жить в полном спокойствии, окруженная детьми и внуками, но точно вот черт вселился в бабу, и она забросила все личные дела свои на тиунов и с утра до ночи кипела в непрерывном водовороте интриг. Еще более обозлилась она, когда при последнем нападении Ивана III на Новгород ее сын Дмитрий был Иваном казнен, а Федор, прозванный в Новгороде Дурнем, был увезен в Муром. И вот теперь москвичи придумали эту дурацкую историю с титулом государевым. Все объяснения, представленные Новгородом, остались без всякого результата, и в Новгород московский подьячий — даже не дяк!.. — только что привез «складную грамоту», то есть объявление войны...

В просторных и богатых сенях Марфы сидели, думая думу, ее сторонники. Старый Пимен, ключник при владыке Ионе, который крал деньги из казны святой Софии Премудрости Божией для подкупа худых мужиков-вечников в пользу литовской партии, — свои денежки ловкая посадница поберегала про черный день, — хмуро нахохлился у окна. Он потерял всякую веру в успех борьбы с Москвой...

— Не пойдет теперь Москва на нас... —

сказал один из бояр с рыжей бородищей по пояс. — Погляди, снега-то какие: ни проходу, ни проезду...

Марфа быстро встала и по своей привычке прежде всего поправила кикю и рукава засучила — точно она в драку собиралась, — и маленькие хитрые глазки ее загорелись.

— Ежели Иван не придет, бояре, то плакать о нем мы не будем... — бойко сказала она; в таких выступлениях она понаторела-таки. — А вот ежели он придет, а мы, рукава до полу спустимши, дремать по теплым сеням будем, тогда, пожалуй, большой беды нам не миновать... Скольких из новгородцев Иван вывез уже на низ? Мой Федор, сказывают, помирает в Муроме — значит, сладко пришлось. А на этого дурака, Казимира... Господи, прости ты мое согрешение! Надежду, видно, надо оставить, на ногах стоя, спит и сны, сказывают, видит. Ежели пограбить земли новгородские, это он может, а общее дело вместе делать, этого с него не спрашивай... Тут наши новгородцы на меня набросились было: то измена-де делу русскому... Никакой измены тут, бояре, нету. Погляди на их литовскую Вильну-то: половина жителей в ней наши, русские. А ежели всю их землю взять, то наших и того больше. Ежели нам довелось бы соединиться с ними, то мы еще больше собой русскую сторону на Литве усилили бы и — сломали бы литовцам рога, а одновременно и московское

насилование окоротили бы. И стала бы Русская земля от излива Волхова до городов червенских свободна, по старине. А они: измена... То-то недотепы!.. Ни один дальше своего носа не видит, а тоже суются... А что до веры касасемо, то, по моему бабьему разуму, кажный как хошь, так и верь, всех несогласных в Волхове не перетопишь. Дурье это дело, эти свары из-за веры...

— Вся беда, духу прежнего в новгородцах не стало... — упрямо сказал рыжий боярин. — Анамнясь слышу, спорят что-то около моего двора грузчики с Волхова. И один поджигает: «Небось посадником в Новгороде ни разу не ходил не то что смерд, а даже и купец какой — все бояре да бояре... Дак что-де нам больно против Москвы-то шуметь? Иван боярам враз рога-то обломает...»

— Это что говорить... — дружно поддержали его со всех сторон. — Помните, чай, как раз рать на Москву собирали, когда она наши земли за Волоком захватила? На вече крест целовали, чтобы всем за един брат быть, а чуть дошло до дела, все в кусты. Обездушел наш народ, вот в чем беда!..

— Так... Это так.

— Ты что? — строго обратилась Марфа к старому дворецкому, который робко остановился у порога.

— Там пришел к тебе, боярыня, игумен скопской Евфросин... — тихо сказал он; Марфы все

чада и домочадцы боялись как огня. — Прикажешь пустить его или, может, велеть до другого раза?

— Чего ему надобно? — сердито крикнула Марфа, поправляя кичку, и сердито же прибавила: — Таскаются тоже...

— Не могу знать... — сказал старик. — Чай, за плодоношением...

— Он тут которую неделю по городу ходит, все насчет аллилугия хлопочет... — засмеялся рыжий боярин — Очень, бают, его распоп Столп изобидел...

— Насчет аллилугия? — нахмурилась Марфа. — Так скажи ему, что он... дурак!..

Бояре переглянулись украдкой. Эта горячность много бабе в делах вредила, но ничего она с своим бешеным сердцем поделать не могла. Также вот явился было к ней недавно Зосима, игумен Соловецкого монастыря, — он приезжал в Новгород, чтобы выхлопотать грамоту на владение островами, на которые все наскакивали бояре да житьи люди Двинской земли, стараясь отнять их у батюшек, — а Марфа выгнала его со двора: она не терпела иноков-прошаков. И на ушко передавали, что старец предрек будто большие беды дому ее...

— Ну, постой, постой... — остановила она дворецкого, поймав взгляды бояр. — Ты там покорми его как следует, а боярыне, мол, сичас выйти никак недосуг, большое, мол, дело у нее...

Погодь, что это?

За окном послышался нарядный перезвон хорошо подобранных бубенцов. Все бросились к окнам. К воротам подъехал сам владыка новгородский Феофил. У ворот засуетилась челядь. Из крытого коврового возка тяжело выбирался владыка. Всякий старался хоть издали, хоть кончиками пальцев поддержать святого отца, а он, раздавая благословения направо и налево, медлительно колыхался к крыльцу, на котором уже ждала его Марфа и все ее гости.

— А вот и я к тебе, мать Марфа...

После благословений и обмена всякими любезностями владыка уселся в красном углу, под святыми иконами. Белый клобук его напоминал не только о величии сана его, но и о значении Господина Великого Новгорода. История этого клобука такова: к константинопольскому патриарху, получившему, как известно, этот белый клобук от Рима, явился в ночи светлый юноша и повелел ему отправить клобук в Новгород, архиепископу Василью. Патриарх не послушался. Видение повторилось. Тогда патриарх, восстав, положил клобук в один ковчежец и многие чудные дары в другой и послал все с епископом на далекий север. Владыка Василий, получив во сне предупреждение, что к нему едет белый клобук, вышел навстречу патриаршему посланцу и

благочинно принял и клобук и дары. История сия местными философами была истолкована так: ни папа римский, ни патриарх константинопольский не оказались достойными белого клобука, только владыка новгородский оказался достоин сего. Следовательно, Новгород — это третий Рим, а четвертому, конечно, не быть. Что велик он не только перед Константинополем, но и перед Москвой: получи и распишись, что называется!

— Все толкуете, все шумите... — добродушно проговорил владыка. — Все мятетесь... Ишь ты, как раскраснелась, мать Марфа! Должно, крепко билась... А вы лучше бы на благостыню Божию уповали, маловеры...

— Да, хорошо тебе говорить-то, владыка святой... — поправив кикю, не без раздражения сказала Марфа, зная, что владыка играет и вашим, и нашим. — Тебе что? Ты везде свое поплешное<sup>2</sup> сберешь. А помнишь, что москвитяне с пленными новгородцами-то наделали? Всем, разбойники, носы, губы да уши обрезали, да так и пустили...

— Как не помнить? — отозвался владыка,

---

<sup>2</sup> Кроме кормов натурой, духовенство должно было вносить владыке и «поплешную пошлину», деньгами, с каждой головы, украшенной тогда гуменцем, то есть плешью.

тоже видевший хитрую бабу насквозь. — Да ведь и новгородцы с москвичами иной раз не лучше поступали. А что касается меня, — набожно поднял он заплывшие глазки к потолку, — так на все буди воля Господня...

У порога опять тихо встал дворецкий.

— Ну? — сердито крикнула Марфа.

— Да отец Евфросин никак не отстаёт, матушка боярыня... — сказал старик. — Пущай, говорит, хошь на малое время боярыня выйдет...

— Это он все насчет аллилугиа хлопочет... — улыбнулся владыка в бороду. — Такой настырный старичонка, не дай Бог!..

— Да ты рассудил бы их со Столпом как-нито и успокоил бы душу его... — сказал кто-то из бояр.

— Да я и успокоил... — отвечал владыка. — «Хошь, — говорю, — двои, хошь трои — твое дело. Раз тебе сам патриарх константинопольский велел, мол, двоить, так чего ж тебе, мол, еще? Ему теперь больше всего Столпа доехать охота...

— Беда, какая смута в Церкви Божией идет!.. — степенно сказал старый, белый как лунь боярин. — Намедни у меня попы о перстосложении схватились: один кричит, что надо двое персты креститься, а другие — трои... Сколько годов крещена Русь, а все никак не столкуемся...

Марфа сурово взглянула на дворецкого и, поправив кичу и решительно засучив рукава,

широкими шагами пошла из сеней:

— Ну, покажу я ему сичас аллилугию!..

## **IV. Москва на походе**

Было близко Рождеству. Морозы стояли лютые. Иван, не глядя на это — он притворялся страшно разобиженным новгородцами, — приказал немедленно строить полки к походу. Он повелел, чтобы с полками шел и наряд пушкарский с Фиораванти, и дьяк Бородатый, который был весьма начитан в летописях и который в стязании о правах и вольностях новгородских мог оказать великому государю немалую услугу, и конные татарские отряды с дружкой государевым касимовским царевичем Даньяром, к которому Иван иногда ездил потешить свое сердце тешью царскою, охотою соколиною.

И вот по узким, заваленным снегом улочкам Москвы пошли кличеи-бирючи, которые, надев на посох шапку, кричали во всю головушку, что великий государь на отступников от веры православной, на новгородцев непутных войною идет и чтобы все, кому то ведать надлежит, явились бы к своему месту. И сразу закипела Москва приготовлениями бранными, и через несколько дней — суровый нрав великого государя был известен — полки московские уже были готовы к

выступлению. Подвигались полки и с других городов...

Сперва москвичи думали, что государь сам на Новгород не пойдет — очень уж студено было, — но Иван знал, что без него непременно начнутся эти окаянные свары местничества, которые уже не раз губили дело государское. В Разрядном приказе уже хранились разрядные книги, в которых записывались род и служба каждого боярского и дворянского рода, но это не помогало, распри и ненавидение между служилыми людьми были чрезвычайные, которые вспыхивали иногда даже пред очами грозного государя, не стеснявшегося сносить слишком зазорные головы. И Иван пошел с полками сам.

Было солнечное, морозное утро. Вся Москва курилась золотистыми кудрявыми столбками дымков. Торг у кремлевских стен кипел. Какой-то володимирец ехал с возом на пегой кобыле и звонко выкрикивал: «По клюкву, по клюкву, по владимирску клюкву!..» И хозяйки спешили к нему со всех сторон: владимирская клюква славилась...

В Кремле и вокруг него стояли уже наготове полки московские. Батюшки служили молебны и в проповедях уверенно обещали воям, ежели падут они на поле брани, венец мученический. И вот, наконец, через Фроловские ворота с великим трубением полилась лавина головного полка...

— Ты гляди, как бы кобыла твоя не напугалась... — говорили москвичи володимирцу. — Иной раз так в трубы ударят, земля дрожит.

— Моя кобыла ничего не боится... — отвечал он, отвешивая седой, твердой, замерзшей клюквы желающим. — Моя кобыла на этот счет, можно сказать, совсем бесстрашная.

За головным полком выступил на Тверскую дорогу и большой полк, при котором ехал с ближними боярами сам великий государь и на особом возу везли свернутое знамя государское. За большим полком следовали полки правой и левой руки, а позадь всех — сторожевой полк, охранявший силу московскую с тыла. При полках везли огромные бубны, в которые били во время боя для возбуждения в воинах храбрости. Они были так велики, что каждый везла четверка коней, а било в него по наряду по восьми человек. Еще немногочисленные пушки возбуждали всеобщее любопытство. Небольшой отряд воинов, вооруженных пищальями — тоже дело в Москве еще невиданное — с подсошками и фитилями, тоже вызывал удивление, но знатоки дела презрительно фыркали: «Ну, чего там... Вот сулицей двинуть, а еще лучше бердышом, это так!..» Конные отряды косоглазых татар, галдя, шли заодно с русскими полками, как совсем недавно, бывало, шли они на

русские полки. Русские конники были куда хуже татар. Сидели они на высоких безобразных седлах — легкий удар копьем, и воин летит вверх тормашками наземь... И сзади всего — москвитяне, глядя на полки свои, назяблись до дрожи — заскрипел по снегу непыратый обоз. Лошаденки от мороза были кудрявые, и возчики, похлопывая рукавицами и притопывая валенками, тешили один другого прибаутками ядреными...

Идти по морозцу было гоже. Но за осень все уже обседелись по запечьям, скоро притомились, и бранный порядок порасстроился. Все были рады-радешеньки, когда на закате солнца великий государь повелел стать станом на опушке старого бора. Никаких палаток московская рать не знала даже в непогодь, ели и спали под открытым небом, как Господь укажет. Только воеводы ставили от ветра войлоки. Но погода к ночи, слава богу, переменилась: стало замолаживать и потеплело. Разожгли костры из сушняка, поужинали сухарями да толокном и вокруг веселых огней стали пристраиваться спать, шептали молитвы, крестились на затянутый мглою восток и громко зевали.

— Эх, ребята, а гоже бы дома теперь... — вздохнул кто-то. — Забрался бы, мать честная, на печь и валяй до свету...

— Да баба бы твоя под бочок подобралась к

тебе. А, Ванька? Гоже бы, чай...

— Ничем с молитовкой — чай, не дома, в лесу. А ты заместо того про баб споминаешь... — назидательно отвечал Ванька. — Господи, прости согрешения наши...

И он громко зевнул и перекрестил рот, чтобы как грехом не заскочил ему в душу окаяшка какой.

Для великого государя был разбит большой шатер. Но Иван знал, что он спать не будет — дума мешала, — и потому он сидел с воеводами и ближними боярами около огромного костра. Начал падать снежок. И тиха была черная ночь над белою, тихою землей. Где-то в отдалении завыли волки. Сверху все реяли и исчезали в жарких золотых отсветах костров белые хлопья...

— А где же Бородатый? — спросил государь.

— Здесь, великий государь... — отвечал из золотистого сумрака, сзади, услужливый голос.

— Ты хотел рассказать мне про хождения какого-то купца тверского за три моря... — сказал Иван. — Вот и расскажи теперь всем, чтобы веселее было ночь коротать.

— Слушаю, государь... — сказал полный, крупитчатый дьяк Бородатый, выходя к огню и запахивая свою дорогую песцовую шубу. — Мне довелось самому читать рукописание его. Любопытно он все описывает... Вот все толкуют, тверяки-де народ некнижный, бестолковый, а

погляди-ка, как этот все гоже обсказывает...

— Да чего ж тверяков хулить так? — сказал князь Иван Патрикеев, воевода. — Народ как народ...

— Да они и сами смекают, что они поотстали маненько... — сказал Бородатый. — Изволишь помнить, великий государь, приносил я как-то тебе на погляденье список тверской летописи. Сам писатель его о себе так там пишет: «Не бех киянин родом, ни Новаграда, ни Владимира не имам, бо многие памяти, ни научихся дохторскому наказанию,<sup>3</sup> еже сочиняти повести и украшати премудрыми словесы, якоже обычай имут ритори...» Как же можно? Тверяк он тверяк и есть...

— Летописцы тоже иной раз такое согнут, что уши вянут... — заметил князь Семен Ряполовский, летописное дело любивший и знавший в нем толк. — Погляди летопись новгородскую: своих, новгородцев, он выхваляет как людей благочестивых и добродетельных, а суздальцев завистниками показывает, несправедливыми, проклятыми иконоборцами. А Андрея Боголюбского иначе и не величает, как ум

---

<sup>3</sup> Науке.

ненаказанный,<sup>4</sup> лютый фараон...

По бородатым лицам пробежала усмешка.

— А как твоего купца-то звали? — спросил Иван.

— Звали его Афанасьем Никитиным, великий государь...

— Так рассказывай, а мы послушаем... — повторил государь. — Да ты присядь, а то, говорят, в ногах правды нету.

— Слушаю, великий государь... — сказал дьяк и, присев к огню и уютно поправив свой меховой малахай с ушами, спорым московским говорком начал: — Было это дело, великий государь, лет поболее десяти тому назад, когда, изволишь помнить, приехал к нам на Москву Асанбег, посол от владетеля шемахинского с поминками. Ты отдал ширваншаха кречетами — целых девяносто птиц повез он тогда с собой. И сичас же следом за ним и наше посольство в Шемаху поехало, а за ним увязались несколько гостей тверских, хотевших пробраться в Персию. С ними был и Никитин. По дороге одно судно купецкое потерпело с товарами крушение, а другое захватили татары под Астраханью, которую татары по-своему Хозторохани величают. Много всякой

---

<sup>4</sup> Необразованный.

нужи да горя натерпелись они, пока не попали к ширваншаху в Шемаху. Потерявши все товары, чуть не голые; они били ширваншаху челом, чтобы он отправил их как-нито на Русь, но тот никакой управы им не дал. Заплакали они и пошли кто куда: одни на Русь потянулись, другие остались в Шемахе, третьи пошли наниматься на работы в Баку, где горит из земли огонь неугасимый и тому огню, сказывают, люди тамошние поклоняются аки Богу...

— Чего только не придумают!.. — с усмешкой покачал головой государь. — Стало быть, вера такая...

— Да... — сказал Бородатый уютно. — И так потихоньку да полегоньку — скоро сказывается, да не скоро дело делается — добрался наш Никитин и до царства Индейского. Люди там, пишет, ходят наги все, голова не покрыта, груди голы, волосы в одну косу плетены, а мужи и жены все черны... И куды бы он там ни пошел, везде они за им, словно привязанные, таскаются: дивно уж им очень, что он из себя белый!.. А молятся, вишь, они каменным болванам, великий государь, а Христа и не знают совсем. И вер будто у них, у индеев, поболее восьмидесяти, и ни одна с другой не пиет, не ест, не женится. Один из их ханов отобрал у Никитина жеребца его, которого тот ухитрился как-то к индейцам провезти — там у них лошадей,

сказывают, совсем нету, а все быки... — и обещал ему воротить и жеребца, и поверх того еще тысячу золотых дать, ежели Никитин примет веру их поганую. Но тот на злое дело не пошел, и хан все же жеребца ему воротил. Войны с нами, что ли, боялся, уж не ведаю, но только отдал. А индеи эти самые, говорит Никитин, народ ничего себе, покладистый, хоша и поганые...

— И середь поганых люди хорошие бывают... — сказал князь Семен Ряполовский. — Мне сказывали, что во время мора — лет пятьдесят тому назад — померла в Новегороде инокиня одна: не то что померла, а обомлела, должно, потому вскоре после того она встала опять живой и стала рассказывать всем, кого видела она в раю и в аду. Маненько не доходя до ада, сказывала она, увидела она будто одр, а на одре пса лежаща, одеяна шубою собольею. И спросила она: «Почему-де тут пес находится?»

И сказали ей, что то агарянин поганый, который при жизни, вишь, добер больно был. Особенно любил он выкупать невольников и даже птиц пойманных. В рай, знамо дело, попасть он не мог, потому не потщился принять веру истинную вовремя, но за хорошую жизнь от мук будто был избавлен. И вот, зловерия его ради, оставил ему Господь образ песий, а шубою многоцветною объяви всем о добродетели его, которая, как

видится, и неверным помогает... Ну, сказывай, Бородатый, — это я только так, к слову...

— Ну, потом попал наш Никитин в Ерусалим ихний, — уютно продолжал дьяк. — Тамо находится у их храм бога ихнего, Буты, величиной, пишет, в пол-Твери. А болван Буты из камени вырезан вельми велик, да хвост у его висит, а руку правую поднял высоко да простер, аки Устьян,<sup>5</sup> царь цареградский, а в левой руке копье. Из одежи на нем ничего нету, пишет, а виденье<sup>6</sup> его обезьянье. Женки его, Бутовы, наги вырезаны, тут же округ стоят.

А перед Бутом вол поставлен, вырезан из камени черного и весь позолочен, а целуют его в копыто и сыплют на него, как и на самого Бута, цветы. Индеяне вола зовут отцом, а корову матерью...

— Ахххх!.. — негодуяще всплеснули руками великий государь и бояре. — Ну, неча сказать: додумались!..

— Потом есть еще Аланд-город у них, и в том Аланде-городе птица гукук летает, — продолжал уютно дьяк. — И все кличет: гукук!.. А на которой

---

<sup>5</sup> Юстиниан.

<sup>6</sup> Наружность.

хоромине сядет, то тут человек умрет, а кто ее отогнать хочет али убить, ино у нее изо рта огонь выйдет. А мамоны<sup>7</sup> ходят по ночам да имают кур, а живут в горе или каменье. И есть у них свой князь обезьянский да ходит ратию своею, да кто мамону обижает, то она ся жалует князю своему, и он посылает на того рать, и она, пришед на град, дворы разваливает, а людей побьет.

— Ахххх!.. — всплеснули опять длинные рукава вокруг костра. — Ну, скажи, пожалуй...

— Да... — подтвердил Бородатый. — А рати их мамоной, сказывают, вельми много, и языки у них свои, а детей родят вельми много обезьянских. Да который родится не в отца и не в мать, тех гиндустанцы эти самые, индеи, имают да учат их всякому рукоделию, а иных продают в ночи, чтобы взад, в камение свое, не знали побежати. А иных учат плясати...

— Батюшки мои!.. — ахнуло все вокруг костра. — Ну и Никитин — тверяк, а гляди чего навидался!.. Тут со страхования одного ума решиться можно... Ну?

— Да всего и не перескажешь, великий государь... — сказал дьяк. — А вот, Бог даст, вернемся на Москву, я скажу дьяку Василью

---

<sup>7</sup> Обезьяны.

Мамырову — рукописание-то купцы тверские ему передали, — чтобы он тебе его доставил... И пишет Никитин, что скоро он там в счете дней совсем запутался и не знал ни говейно когда, ни Рожество, ни среда, ни пятток, ни праздники... И стал эдак парень задумываться, нись наша вера правая, нись иха...

— Аххх!.. — дохнуло все ужасом в ночи. — Это не иначе как нечистый смущал... Ну и что ж он, устоял?

— Устоял... — успокоил всех уютный дьяк. — Как можно не устоять? Ну только, пишет, не любо там мне все стало, и устремился я-де умом на Русь. И вот после всяких приключений добрался он до града Трапезунда и, переплыв море, вернулся-таки, наконец, всего нагладевшись, на Русь. Да не сподобил его Господь Тверь свою увидеть: в Смоленском захворал да и отдал душу Богу... А в конце рукописания своего, великий государь, Никитин, царство ему небесное, вечный покой, приписал гоже так: «Земля Русская, да сохранит ее Бог... — пишет. — В этом свете нет такой прекрасной земли больше нигде. Да устроится, — пишет, — Русская земля!..»

И голос уютного дьяка Бородатого тепло дрогнул...

Глаза Ивана просияли.

— Да, да... — тепло проговорил и он. — Да

устроится Русская земля... Ну, царство ему небесное, вечный покой... — перекрестился он. — Таких бы вот хитрецов мне поболее...

## V. Ночные думы

Скоро бояре позевывать стали... И Ивану полежать захотелось. Он милостиво отпустил бояр, ушел в шатер, помолился маленько и улегся. Под медвежьим одеялом было тепло, как на печи. Вокруг стояла мертвая тишина — только караульные, скрипя снегом, похаживали вокруг шатра государева да иногда зевали тихонько. Но сон не шел к Ивану. Он опять и опять ушел в те думы, которые передумывал он не раз над шахматной доскою жизни. Игра шла у него как будто слава богу, но надо было всегда быть начеку.

Первым браком Иван был женат на Марье Борисовне, дочери великого князя тверского. От нее у него был сын, Иван Молодой. Но великая княгиня вскоре померла — ходили глухие слухи, что недруги отравили ее. Не прошло и двух лет, как Иван задумал снова жениться. В 1469 году был прислан в Москву от известного философа-кардинала Виссариона, одного из греческих митрополитов, подписавших флорентийскую унию, гречин Юрий. В своем письме к Ивану кардинал-философ предлагал ему

руку царевны византийской Софии, которая после гибели Царьграда от руки агарян жила в Риме и славилась на всю Европу своей невероятной толщиной. Гардинал уверял великого государя, что Софья из преданности вере своей греческой уже отказала в руке королю французскому и дуксусу медиоланскому. Иван сразу учел выгодность для себя такой партии — в лице Софьи к Москве как бы переходила вся былая слава Византии — и отправил в Рим итальянца-выходца, монетного мастера Ивана. Иван на Москве от буйства латынского отстал и, к делам веры вообще довольно равнодушный, нагородил и наобещал всего в Риме горы. Папа Павел, надеявшийся через Софью привлечь Московию если не к латынству, так хоть к унии, послал с ним Ивану портрет царевны и опасные грамоты для проезда московского посольства по царевну через католические земли.

В 1472 году необъятная Софья была вывезена в Московию. Ее самолюбию не очень льстило, что она идет за какого-то татарского данника. Но по дороге ей повсюду в Русской земле были устроены чудесные встречи. Псковичи, все сильнее чувствовавшие тяжелую длань государя московского, отвалили ей в дар целых пятьдесят рублей да фрязину Ивану за хлопоты десять рублей дали. За Софьей шел на Москву легатос папский со

своим латынским крыжом. Прознав о том, Иван скорее запросил синклит свой боярский, как с этим легатосом и крыжом быть. И бояре порешили: как он идет, так пусть себе и идет — кака беда?.. Но митрополит Филипп, со свойственной святителям мудростию, заявил великому государю:

— Не можно тому быть никак! Не только в святой град не может латынщик поганый войти, но даже и приблизиться к нему ему не подобает. А ежели позволишь ему так учинить, то он в одни ворота — а я в другие. Недостойно нам того и слышать, не только видеть, потому что возлюбивший и похваливший чужую веру, тот своей вере поругался...

И народ московский возроптал... Поэтому у легатоса крыж его отняли и положили в сани, а когда он после бракосочетания захотел было иметь прю о вере, то против него Москва выставила начетчика Никиту-поповича. Никита сразу вогнал, понятно, гардинала в мыло, и тот, ссылаясь на то, что с ним нет нужных для при книг, от при отказался и с позором возвратился вспять. Ликованию отцов не было пределов:

— Вот как мы их!..

Но когда гардинал рассказал в Риме утонченным тамошним князьям Церкви о том, как спорили с ним московские попы о вере, там на весь вечный город поднялся хохот...

Хотя единоедержавие уже и раньше пустило цепкие корешки в Боровицкий холм над рекою Смородиной — так Москву-реку в старину звали, — теперь оно укрепилось еще более: великий князь становился через Софью как бы преемником императоров византийских. Он сразу так поднял голову, что все перед ним пало ниц. Князя Рюриковой крови служили ему наравне с простыми смертными и славились полученным от него титулом бояр, дворецких или окольничих. Великий государь ввел обряд целования руки в знак особой монаршей милости. Двор его становился все пышнее. Это был уже владыка, законодатель, браздодержатель. Малейшее противоречие — и голова летела с плеч, какая горлатная шапка ни украшала бы ее. Правда, новый тон этот великий князь иногда не выдерживал и в случае пожара, например, — его на Руси звали «Божьим батогом», — «гонял со многими боярскими детьми гасяще и разметывающе», но Софья удерживала его теперь от таких выступлений...

Но все это было только разбегом, началом великих дел.

Первое дело, которое надо было теперь Руси упредить, были татары. Больше двухсот лет терзали и грабили они Русь, и вот она незаметно подошла к какому-то великому, смутному еще кануну. Правда, татары сами из всех сил помогали ей: в Орде

началось то же самое, что сгубило молодую Русь, борьба за власть державцев. От Золотой Орды уже отделился, с одной стороны, Крым, а с другой — Казань, а в Орде шла кровавая игра головами. Сперва татары жили в Кремле, чтобы наблюдать за великокняжеским двором, но не успела Софья прибыть на Русь, как сразу же — грекиня была не промах — явилась ей во сне Пречистая Богородица и повелела ей на месте ордынского подворья поставить святую церковь. Татары всяких небесных сил боялись, из Кремля выехали и вообще держали теперь себя на Москве тише воды, ниже травы.

Вторым делом Ивана было уничтожение последних уделов. И тут косвенно помогли ему татары. В старину воевали только княжеские дружины, но так как татары вступали в бой огромными ратями, то они принудили и Русь выставлять большие народные ополчения. А так как самую большую силу могла выставить Москва, то другие княжества потихоньку и сходили на нет. Но не без борьбы. В них, несмотря на «проклятые» — то есть клятвенные — грамоты, которые не уставали выдавать один другому князья, замечалось всегда опасное шатание: куда преклониться, к Москве или к Литве? Но Москва все же с каждым годом крепла, и теперь уже ни один боярин, ни один князь не осмелился бы сказать великому князю, как встарь: «О себе, княже, замыслил еси,

мы того не ведали, не едем по тебе», — теперь достаточно было одного слова государева — и всякий боярин обязан был садиться на коня и выезжать цветно и конно без всяких разговоров...

Третье дело было ударить покрепче по Литве и Польше, которые захватили старые русские области: Русь Малую, Русь Червонную, Русь Угорскую<sup>8</sup> и Русь Черную.<sup>9</sup> Не вернуть их было бы просто грешно. Стыдно сказать: мать городов русских, старый Киев, был во вражьих руках, враги владели старым Смоленском, который сделали они оплотом против Руси!.. Справиться с Литвой казалось тем легче, что на стороне Москвы было серьезное преимущество: Северная Русь, собиравшаяся вокруг Москвы, сливалась в одно национальное, единокровное целое, а там шел великий разлад между православною Русью и католическими Литвой и Польшей, а соединение Литвы с Польшей, где колобродил сейм, ослабляло Литву. Отношения Москвы с Литвой были враждебны, и порубежные столкновения случались то и дело. Казимир возбуждал против Москвы Золотую Орду, а великий князь московский

---

<sup>8</sup> Прикарпатье.

<sup>9</sup> По Верхнему Неману.

подымал на Литву крымских татар, которые не раз уже вносили жестокие опустошения в пределы Литвы и выжигали старый Киев...

Много заботы, много трудов предстояло Ивану, и он не боялся их. Он чувствовал, что само время как-то таинственно работает на него и выравнивает перед ним пути к богатству, силе и славе. Но — и вот этого не знал ни один человек в мире — в личной жизни ему не везло. Он был одинок. Сердце просило ласки и радости, а судьба послала ему только необъятную, волосатую, черную Софью, которая была больше похожа на медведицу, чем на женщину.

А годы уходили...

И сердце великого государя московского сосала тоска.

## **VI. Уязвление**

Когда великий государь, громко зевая, ушел наконец в свою палатку, князь Василий Патрикеев, заложив назад руки, пошел станом вдоль потухающих костров: он знал, что ему не спать. Он никогда не умел светло веселиться в жизни. Несмотря на знатное происхождение, на огромные богатства, на исключительную близость к великому государю, жизнь была ему в тягость. Он был уже женат, но с первых же дней жена — до брака он ее,

по обычаю, и не видал — опостылела ему хуже горькой редьки. И вдруг, только на днях, перед самым походом, жизнь, точно назло, едко посмеялась над ним...

По поручению великого государя он зашел к старому князю Даниле Холмскому.<sup>10</sup> У князя бывал чуть не ежедневно: с молодым княжичем Андреем они дружили с малых лет. В доме шла великая суета: князь Андрей уходил в поход, и надо было все для него изготовить. Князь Василий, никого не спрашивая, как всегда, отворил двери в сени и застыл на пороге: в сенях была ему неведомая красавица, при одном взгляде на которую сердце его опалила жаркая молния. Она в испуге закрылась фатой, но не могла отвести от него глаз. Прошла минута ли, две ли, три ли, оба не знали: они были ослеплены, и глаза в эти короткие мгновения сказали одни другим столько, что и сердце не вмещало. Оба поняли, что они созданы друг для друга, оба чувствовали, что вся их жизнь до этого момента была только приготовлением этой восхитительной и страшной встречи, и оба сейчас же почувствовали, что между ними непреступная

---

<sup>10</sup> Обращаем особое внимание читателя, что еще в начале XVI в. в государственном строении России принимали самое близкое участие князья Юго-Западной Руси.

стена: князь Василий догадался, что это молодая жена его сердечного дружка, князя Андрея, сыгравшего свадьбу недавно, когда князь Василий с посольским делом в Ревель к Божьим риторям ходил, а она догадалась, что это князь Василий, о котором молодой муж не уставал говорить ей... На мгновение приоткрылся какой-то сияющий рай, и, точно издеваясь, судьба сейчас же запечатала вход в него тяжелой каменной плитой...

Князь Василий ничего больше из этой встречи не помнил. Не помнил он ничего и из тех дней, которые предшествовали выступлению московской рати. Он был оглушен. И вот теперь, на стоянке рати, он шел потупившись вдоль линии потухающих костров и слушал тоскливые песни своего сердца... Местами от огня слышался уже храп. Разговоры утихали. Лошади сочно зобали овес, сухо шуршали сеном и, чуя в темноте волков, чутко пряли ушами и беспокойно переступали ногами. Снежок все падал и нежным прикосновением своим ласкал лицо...

У одного из костров какой-то старый вояка, доплетая лапоть, рассказывал что-то сидевшим вокруг костра воям.

— А как же можно? Каждая трясовица свое имя имеет... — степенно говорил он. — Одну так просто трясовицей и зовут, другую — Огнея, третью — Гнетя... Всех их числом двенадцать, и

все они дочери Иродовы. И когда ты против их заговор читаешь, то отсылаешь их туда, откедова оне пришли: под пень, под колоду, в озера да в омота темные... И заговоры тоже всякие бывают: ежели от зубной боли, то надо на священномученика Антония заговаривать, от воспы — на мученика Конона, от пожара — на Микиту-епископа, а от трясовиц этих самых — на святого Сисиния... Как же можно? Всякому делу порядок должен быть...

— На кого молить от трясовицы-то надо? — сонно спросил из-за его спины молодой голос.

— Говорят тебе, на святого Сисиния...

— Чудной чтой-то какой... — засмеялся молодой. — Ровно не из наших, а? Святой Сисиний, а сам весь синий...

— Э-э, дурак!.. — недовольно отозвался рассказчик. — Нешто на святых зубы-то скалят?..

Князь снова пошел вдоль линии догоравших огней. Снег сухо хрустел под ногами. И думал он, полный тоски, над судьбой своей... Родись он, к примеру, среди фрязей, он мог бы видеть Стешу сколько хотел, мог бы говорить с ней, а здесь она рядом вот — и все же между ними стена неприступная. Чудное дело: у всех были матери, у всех были сестры, а на женщину Москва смотрела — по указке монахов — как на какую-то дьяволицу в образе человеческом, и, чтобы она как не

напрокудила, запирали ее накрепко в терему высоком. Без позволения мужа жена не могла выйти даже в церковь. Все очень хорошо знали, что ни высокие заборы, гвоздем утыканые, ни злые собаки, гремящие цепью во дворах день и ночь, ни надзор семьи не мешали прелестнику-дьяволу делать в конце концов свое дело — через торговок, через гадалок, через богомолку. И часто потворенные бабы эти работали в высоком терему для боярынь и боярышен, а внизу — для боярина: убежденный, что его собственный терем недоступен, он сам был не прочь позабавиться в терему чужом... А не только фрязи, но и новгородцы ничего этого не знают... Но, вздохнул он тяжело, если бы даже встретились они не в Москве, а там, где люди поскладнее устроились, и там между ними была бы стена: ведь она жена его лучшего друга, единственного человека, которому открывается душа его... Так зачем же они так поздно встретились? Кому это нужна мука их?.. Он ясно, остро чувствовал, — ее милые голубые глаза враз сказали ему все, — что и она, может, не спит теперь, в эту глухую зимнюю ночь, и — тянется к нему...

Неподалеку послышались голоса. Он поднял голову. Навстречу ему медленно двигались по линии угасающих костров двое. Сперва он подумал, что это дозор, но потом, присмотревшись, узнал

Фиораванти в тяжелой волчьей шубе и — Андрея. Сердце его тяжело забилося. Теперь он всячески старался избегать старого друга. Но избежать встречи было уже невозможно: князь Андрей заметил его.

— Что, и ты не спишь?.. — весело крикнул он. — Я лег было да что-то прозяб. Привычку, говорят, надо... А ты что полуношничаеть?

Князь Василий подошел к ним, поздоровался с фрязином и неловко улыбнулся другу.

— Не спится что-то... — сказал он. — Давайте пройдемся маленько, может, тогда лучше сон возьмет...

— А мне вот Аристотель про свою сторону рассказывает... — проговорил князь Андрей. — И у них, говорит, монахи здорово силу забрали... И так же много во всем... зряшного. В одном, говорит, месте гвоздь Господень показывают, в другом волос Богородицын, которого никто не видит, а в третьем перышки из крыльев архангела Михаила продают... А? — улыбнулся он.

— А я думал, у вас все маленько поскладнее нашего налажено... — усмехнулся князь Василий, обращаясь к Фиораванти. — Как наш митрополит Сидор в Фирензу вашу на собор ездил, описывали: не нахвалятся! А человек-то, выходит, и там дурак...

— Конечно, дурак... — равнодушно

согласился фрязин, старательно выговаривая слова этого варварского языка, с которым он все никак справиться не мог.

Нельзя было подобрать людей более несхожих, чем князь Василий и Фиораванти. Князь был весь во власти того дьявола, который соблазнил праматерь Еву вкусить от древа познания добра и зла, обещая ей, что она со своим Адамом будут «как боги». От древа она вкусила, но никакого познания не получилось, но, наоборот, узнали прародители лишь неутолимую тоску по знанию, которую и передали своим неудобным, беспокойным потомкам. Фрязин же смотрел на огромный мир как на арену, где можно при известной ловкости ухватить немало доброго. К добру и злу он относился с полным равнодушием. Если ему приказывали за деньги разрушить старый собор, он разрушал, приказывали ставить новый — он ставил, стараясь только о том, чтобы ему от всех этих дел было побольше выгоды.

— А тебе так и не довелось шкуру моего последнего медведя видеть... — сказал князь Андрей. — Перевидал я их довольно, а того чудушки видеть еще не приходилось! Поверишь ли, как встал он на задние лапы да пошел на меня — ну, думаю, князь Андрей, молись скорей Богу да с вольным светом прощайся!.. Но все же не сплоснал и так-то ловко поддел на рогатину, что

любо-дорого... Стеша все ужасалась, как я перед ней шкуру-то расстелить велел.

Фрязин, плохо понимая живую речь молодого князя, думал о своих пушках, которые он впервые попробует на стенах новгородских, а в душе князя Василия вдруг буйной вьюгой заиграла грусть-тоска: нет, ничто ему теперь не мило на свете, ничего ему в жизни не нужно! Нет ее — нет и жизни. И он стиснул зубы, чтобы не застонать...

И молчала ночь, и снежинки все гуще покрывали эти тысячи спящих по белой земле людей, и крупы лошадей у коновязей, и лапы старого бора. Где-то вдали опять завывали волки.

— Да что ты голову-то повесил?.. — вдруг с улыбкой посмотрел на князя Василия его друг. — Или на Москве зазнобу какую покинул? Ну, ничего, не горюй, скоро назад вернемся!

## **VII. Конец сказки старой**

Чуть засерело за темными лесами, как над спящим станом запел рог и по опушке бора встала из-под снега московская рать. Под снегом было куда теплее, чем теперь на морозе. Вои стряхивали с себя белые, пахучие пласты свежего снега, притопывали лаптями, размахивали руками и переговаривались хриплыми со сна голосами.

— Гоже, баять нечего!.. А дома на печи с

бабой куды лутче... А, Васьк?..

— А лошади-то, лошади-то, гляди, ребята!

Кони, понурившись, стояли у коновязей, и на спинах их лежали богатые белобархатные попоны...

И зашумел стан. Помылись маленько снегом, для прилику, покрестились на восток, поели толокна с сухарями, и завоеводчики поскакали по своим местам строить полки на поход. Еще немного — и по занесенной снегом дороге полки медлительно двинулись вперед. Идти было неспособно, бродно. Особенно тяжело доставалось головному полку, который проминал дорогу для всех. Но снег перестал, тучи расчистились, засияло солнце, и радостно стало на душе у всех при взгляде на этот белый, чистый, сияющий мир. Упоительно пахло свежим снегом. Ни единого следа зверя или птицы не было: все живое, боясь показать след, отсиживалось в крепях. На языке звероловов это называется мертвой порошей...

Шли с охоткой. Прошли Волок Ламский, прошли Старицу, подошли к Твери. Еще недавно, казалось, видела Москва под стенами своими полки Твери и Литвы, а теперь в Твери без разрешения великого князя московского идохнуть не смели. Из всех попутных городов выходили полки, чтобы подстроиться к московской рати и идти — хотя бы и без большой охоты — на дело московское,

которое все больше и больше становилось делом всей Руси... Прошли бойкий Торжок и вошли, наконец, в Деревскую пятину Господина Великого Новгорода...

Черный народ, ютившийся по непыратым деревенькам, затерявшимся среди необозримых лесов и снегов, старался при подходе полков схорониться в крепях: грабили и жгли мужика все, свои и чужие, одинаково. А которым схорониться было некуда или некогда, те выражали знаки подданничества. Черный народ новгородский совсем не огорчался походом москвитян: свои бояре надоели досыта поборами беспощадными — крич от них стоял по всей земле новгородской...

— И годно им!.. — говорили, поеживаясь от морозца, мужики. — А то, ишь, волю-то забрали...

Но все же, когда можно было, они старались показать москвитянам, что и они тоже не лыком шиты.

— А ты што думаешь? — говорил какой-нибудь республиканец на привале москвитянам. — У нас хлеба нету, а благодати — слава Тебе, Господи! Вот недавно отец Савва, что на Вишере обитель себе ставит, выпустил свою лошадку попасться. Бес напустил на ее ведмедя, и тот съел ее. Купил старец, делать нечего, другую. И ту съел зверь. Тогда Савва, осерчавши, связал ведмедя молитвой и повел его в Новгород к судьям.

«Вот, — говорит, — судьи праведные, зверь сей обидел меня дважды, и я требую суда на него». И обсказал все, как и что. Судьи подумали, подумали да и говорят: «Поступи с ним, отче, как знаешь...» И старец решил: так пусть-де он поработает на мою обитель за лошадей, которых он у меня съел. И ведмедь так до самого окончания постройки и возил для старца бревна из лесу...

Тогда каждая земля только свою святыню блажила. Поэтому москвитяне и тверяки слушали республиканца недоверчиво.

— Охо-хо-хо-хо... — вздохнула какая-то борода. — Мели, Емеля, твоя неделя!..

Все засмеялись. Но чесать языки было уже неколи: трубы играли поход. И, запалив для острастки деревню, полки потянулись по снежной дороге в хмурые зимние дали, а новгородец долго смотрел им вслед и чесал штаны: что там ни говори, а охальник народ москвичи эти самые!..

И вот вдали над белой гладью мертвого теперь Ильменя засияли наконец главы Софии Премудрости Божией. Над белыми равнинами загудели «могучие бубны, и воины закричали одушевленно: керлешь, керлешь...» — что по-московски значило: «Кириэ елеисон...»<sup>11</sup> Но

---

<sup>11</sup> Господи, помилуй.

весь этот бранный шум был уже совсем не нужен: новгородцы и без того были уже напуганы приближением силы московской. Правда, город, как всегда, баламутился: если в одном конце «целовали Богородицу, как стати всем, любо живот, любо смерть за правду новгороцькую, за свою отчину», то в другом целовали другую Богородицу, как верой и правдой служить и прямить великому государю московскому. Но все чувствовали, что дело идет к развязке...

Головной полк в бранном шуме надвинулся на посольство Великого Новгорода к великому государю. То был весь совет боярский: старые посадники, старые тысяцкие, всего человек поболее полусотни, во главе с самим владыкой. Воевода, князь Иван Юрьевич Патрикеев, приказал рати стать станом, и спустя малое время послы предстали пред грозные очи великого государя. Красивое и энергичное лицо Ивана выражало обиду, но и торжество: он понимал, что это начало конца. Он благочинно принял благословение от владыки — на жирном лице того было великое смирение и покорность воле Божией — и едва кивнул на низкий поклон бояр новгородских.

— С чем пожаловали, новгородцы?

— Помилуй вотчину свою, великий государь, — проговорил владыка. — Великий Новгород челом тебе, великому государю, бьет...

— Негоже, новгородцы!.. — сказал Иван, и сухие ноздри его затрепетали. — Я ли не был к вам милостив? Я ли не прощал вашим людям обиды, которые они чинили городам моим? Но всякому терпению бывает конец. Вы отпираетесь от своих слов. Ваши послы, придя на Москву, сами, безо всякого понуждения меня своим государем величали, а вы тут кричите, что этого и не бывало николи, что я словно уж и не государь вам... Эдак перед всеми людьми выходит, что великий князь московский ныне лжецом учинился...

— Смилуйся, великий государь!.. — стал вдруг на колени владыка. — Мало ли что худые мужики-вечники у нас кричат? Народ наш сам знаешь какой... Положи гнев на милость; великий государь... Ты государь наш и великий князь всея Руси — кто может, безумец, стати противу величества твоего?!

Иван сам поднял владыку.

— Ежели новгородцы приносят мне вины свои, я готов сменить гнев на милость... — с раздувающимися ноздрями сказал он. — Я государь ваш — кому, как не мне, пожалеть вас?.. Повинной головы, говорят, и меч не сечет. Завтра я назначу своих бояр для говорки с вами — все вместе вы и обсудите, как нашему делу теперь быть.

Как только великий государь удалился в свой шатер, послы, чтобы подмаслить дело — не

подмажешь, не поедешь, как говорится, — тут же раздали его приближенным богатые дары: сорока соболей драгоценных, сукон дорогих из Фландрии, из города Ипра, а кому и золотых кораблеников, которые в Европе нобелями звались.

Между боярами затерся было спор.

— Да никто нашим послам и не думал поручать государем великого князя на Москве именовать, просто вы заплатили им, чертям, побольше, чтобы они так его назвали и чтоб вам было к чему придраться!..

Владыка Феофил едва утихомирил спорщиков.

— Да будет уж вам!.. — говорил он. — Лучше по-милому, по-хорошему, по завету христианскому...

Московский стан шумел радостным шумом: победа — и без драки. Но Новгород яростно спорил: одни настаивали, чтобы не гневать больше великого государя и сдаться на его милость, а другие кричали, но уже без всякой веры, что надо биться до последнего за вольность новгородскую. За Москвой потянуло большинство: свары осточертели, всем хотелось покоя под сильной рукой великого государя. Великий Новгород, чтобы хоть что-нибудь выторговать, начал сноситься со станом московским посольствами, но Иван продолжал разыгрывать обиженного и не шел ни на

какие уступки. И вдруг среди переговоров он повелел воеводе придвинуть войска поближе к городу, занять все подгородные монастыри по Волхову и Городище, где всегда жили князья новгородские. Новгородцы упорствовали — Иван повелел занять полками болонье.<sup>12</sup> И тот же час стал Фиораванти по болонью свои пушки устанавливать, направляя их жуткими дулами на город...

Иван видел, что новгородцы укрепились хорошо, и тратить силу зря он не хотел: зачем, когда можно взять город измором? Город, в агонии, раздирался. Но голод — не тетка. И опять выслали новгородцы владыку с боярами, и Иван сообщил им через бояр свой приговор:

— Если ты, владыка, и вся наша отчина Великий Новгород сказались перед нами виноватыми и спрашиваете, как нашему государству быть у вас, в нашей отчине, то объявляем вам, что хотим у вас такого же государства нашего, как и в Москве...

Ошеломленные послы просили, чтобы великий государь отпустил их в город посоветоваться с народом еще.

— Идите. Но через два дня будьте назад с

---

<sup>12</sup> Пустое пространство между стенами города и посадами.

ответом...

Опять вернулись послы в баламутящийся в муке смертной город, опять вернулись в стан московский, но...

— Государство наше в Великом Новгороде будет таково: вечевому колоколу в Новгороде не быть, посаднику не быть, а государство свое нам держать, как в нашей Низовой земле...

Шесть ден думали новгородцы над московским орешком. Пушки Фиораванти молча говорили им, что размышления их не приведут решительно ни к чему. И вот наконец, — было 14 декабря, — владыка во главе большого посольства снова явился в ставку великого государя.

— От посадника степенного Великого Новгорода, — заговорил он торжественно, дрожащим голосом, сдерживая слезы, — и от всех старых посадников, и от тысяцкого Великого Новгорода степенного и от всех старых тысяцких, и от бояр, и от житых людей, и от купцов, и от черных людей, от всего Великого Новгорода, от всех пяти концов на вече, на Ярославле дворе положили: вечевой колокол и посадника великому государю — отдать...

По толстому лицу старика покатались слезы: что ты там ни толкуй, в эту минуту он опускал в могилу многовековую жизнь Господина Великого Новгорода. Все вокруг взволнованно молчало. По

стенам города сумрачно стояли новгородцы...

— Но... — продолжал владыка: тут уже вступала в дело забота дневи сего, — но только бы государь бояр в Москву не посылал, в вотчины их не вступался бы и в службу их в Низовую землю не наряжал...

Иван — он сиял торжеством — всемилостивейше всем этим боярство новгородское пожаловал...

И снова ударили послы Великого Новгорода челом:

— И чтобы великий государь укрепил все это крестным целованием...

— Нет. Нашему целованию не быть.

— Так пусть хоть твои бояре крест целуют...

— Нет. И на то не соизволяем...

— Так хоть будущий наместник твой пусть крепость даст...

— Нет. И того не будет...

Послы растерянно переглянулись: знать, Господину Великому Новгороду и вправду конец...

— Разреши, великий государь, нам в город воротиться и совет с нашими людьми держать...

— Нет. И тому не быть...

Опустились вольные головы новгородские. Из очей у многих слезы текли. От туги великой белый свет померк... И, приняв все условия великого государя, точно оплеванные, пошли они обратно в

город, и сейчас же на дворе Ярославле дьяк владычный присяжную грамоту стал составлять. Первым подписал ее владыка Феофил и печать свою приложил, а за ним приложили печати и всех пяти концов когда-то, совсем как будто недавно, Господина Великого Новгорода. Наутро после обедни владыка со многими боярами, купцами, своеземцами и житьими людьми принес харатью в ставку и вручил ее великому государю московскому и всея Руси.

Москвитяне летали как на крыльях: все обошлось без кровопролития, бояре были завалены дарами, а Москва выросла за эти дни до облаков. И в тот же день на записи этой целовали крест<sup>13</sup> бояре новгородские и гости перед боярами великокняжескими. Иван сейчас же заместил степенного посадника своими наместниками: князем Иваном Стригой-Оболенским да братом его Ярославом, который со своим бараном поднял не так давно в Пскове целое восстание. А дети боярские приводили по всем концам Новгорода людей новгородских к крестному целованию. И клялись буйные новгородцы доносить великому

---

<sup>13</sup> Договоры клались на стол, а на них полагали крест, который присягающие целовали. Договоры эти звались «проклятыми» грамотами.

государю на всякого новгородца, ежели они услышат от него что-нибудь о великом государе дурного или — прибавлено было для красоты слога — хорошего...

В Новгороде во время осады вспыхнул, как почти всегда в таких случаях, мор. Великий государь, опасаясь заразы, в город не въезжал — только две обедни у святой Софии отстоял, благодаря Господа за Его великие к нему милости. А когда присяга новгородцев была кончена — многие сумели отвертеться, — ратные люди московские подошли к вечевой башне. С торга и с Великого моста новгородцы хмуро следили, что будет. И затуманились: москвитяне взялись за вечевой колокол.

Сладить со старым колоколом было нелегко: крепко был он прилажен к своей башне. Москвитяне пыхтели над ним, а он тихонько позванивал, точно жаловался, точно плакал — совсем как живой. Стоявший во дворе Ярославле боярин Григорий Тучин прослезился. Он знал уже, что есть на свете правды, которые велики и без всякого колокола и над которыми владыки мира не имеют никакой власти, но вот тем не менее из мягких глаз его, неудержимо накипаая в сердце встревоженном, текли по смуглому лицу слезы. Стоявшие поодаль мужики новгородские косились на него.

— Ишь, жалко, знать, воли-то своей боярской!.. — проговорил один из них, с сивой бородой, в гречневике. — Будя, поиграли...

— Ты мотри, дядя Митрей, как бы москвитяне теперь на нашей спине не взыграли... — усмехнулся Ших, молодой древолаз. <sup>14</sup> — Погляди-ка, как землю-то Новгородскую они пожгли. Виноваты бояре, а отдувайся мужик... Эхма!

— Эхма, кабы денег тьма!.. — в тон ему вздохнул Блоха, опрятный старичок с курчавой бородой. — Не так москвитяне за дело-то берутся, мать их за ногу!.. — вдруг воскликнул он. — То-то тетери... — покачал он головой и вдруг, не выдержав, бросился к вечевой башне. — Да вы в пролет-то, в пролет-то его выводите!.. — крикнул он ратным людям. — Ни хрена, можно кирпичик-другой и выбить... Эй, ребята, помогай давай... — крикнул он своим.

И новгородцы мужики, от нечего делать, бросились на помощь москвитянам...

Колокол вышел в пролет и по канату, издавая тихий, жалобный звук, поехал вниз, на снежную землю, где его, под охраной вооруженных москвитян, уже поджидали розвальни. Еще

---

<sup>14</sup> Охотник за бортями, за дикими пчелами.

немного, и общими усилиями колокол был установлен на санях.

— Ну, с Богом!.. Дай Бог час...

И старый вечевой колокол поехал в стан московский. По толпам новгородцев, смотревших со всех сторон на действие московское, точно вздох гнева пробежал. Казалось, вот еще миг один, кто-то скажет решающее, зажигающее слово, сразу, как один человек, встанет, как встарь, Господин Великий Новгород против насилования московского, ненавистного и...

Но такого человека в Новгороде уже не было, и слова такого сказать было уже некому. Одни плакали потихоньку, а другие зад чесали: «Ну, чего там...» А ратные люди ломачами и топорами уже весело ломали старую деревянную «степень», с которой еще недавно говорили к народу новгородскому его посадники, излюбленные люди и князья.

На 17 февраля было назначено выступление московской рати в обратный путь. Перед самым отходом ее великий государь распорядился вдруг схватить Марфу Борецкую с ее внуком да нескольких других коноводов литовской партии. Под усиленной охраной всех пленников привели к шатру великокняжескому. Долго заставил их великий государь ожидать себя. Марфа Борецкая по привычке своей все кикую свою поправляла да то и

дело рукава подымала. И мрачным огнем горели глаза старухи неумной... Наконец в сопровождении блестящей свиты великий государь вышел к недругам своим. Марфа стояла поперед всех. Увидав великого государя во всем сиянии величества его, бешеная старуха гордо закинула назад седую, теперь трясущуюся голову. Кика ее съехала набок, но она не замечала этого и с ненавистью смотрела на победителя. Она играла жизнью — все знали, как суров и беспощаден умел быть Иван, — но не склонилась гордая, сумасшедшая голова перед новым владыкой Великого Новгорода...

На радостях изрядно подпивший князь Ярослав Оболенский мигнул рослому молодцу из детей боярских.

— А ну-ка, Ванюша, поди нагни ей, старой ведьме, голову!.. Да пониже мотри...

— Брось!.. — строго повел на него бровью Иван. — Подождем, пока сама поклонится, не к спеху...

Он презрительно усмехнулся и дал знак увести пленников...

Снежными, уже притаявшими дорогами потянулись новгородцы в далекую Москву. За ними вышла рать московская. Звонкие песни молодецкие весело лились по снежным просторам, ухали бубны, звенели треугольники. Радостен был и Иван:

за ним в обозе его государевом везли богатые дары Великого Новгорода: бочки вин заморских, огромные запасы ипрских сукон, корабленики золотые, рыбий зуб, дорогих кречетов для теши царской, соболей сибирских, коней дорогих под попонами богатыми, золотые ковши, жемчуга, окованные золотом и серебром рога туры старинные, мисы серебряные и — дар, для него самый дорогой — старый вечевой колокол, душу вольности новгородской...

## VIII. Беглецы

Был конец марта, то прелестное на Руси время, когда зима уже окончательно побеждена, но весна все еще не верит, что она победила, и радостные улыбки ее то и дело сменяются проливными дождями пополам со снегом, а то и буйной метелью. На посиневших реках уже образовались закрайки. По лесам журчали тетерева, в глухих дебрях щелкали могучие глухари, а днем над солнечными полями заливались и никак не могли достаточно нарадоваться жаворонки. С юга валом валила всякая птица, и трубные звуки журавлиных косяков из-под облаков радостно возвещали всем: весна, весна!.. И все напряженно и радостно ждало решительного перелома, когда дрогнут на реках ледяные поля, откроется веселый

ледоход, морями разольются реки, зазеленеет радостная земля и зазвенит миллионами голосов о счастье жить, и дышать, и любить.

По раскисшей дороге, по которой лежал еще местами почерневший снег, среди пегих полей, над которыми кувыркались хохлатые луговки и залиvisto свистели длинноносые кулики, шли двое прохожих с холщовыми сумочками за плечами и с подождками в руках. Это были боярин Григорий Тучин и дружок его, новгородский поп отец Григорий Неплюй. Новгородский погром потряс обоих больше, чем они ожидали, и в поисках душевного успокоения они шли теперь в глухой монастырь Кирилла Белозерского. Оба они ушли от церкви совсем, но о заволжских старцах ходило по Руси столько чудесных слухов, что они в поисках правды решили побывать у них. Если оба они уже знали, чего не нужно, то никак не могли они накрепко утверждать того, что нужно, и искали света верного повсюду. Да и тяжело стало в Новгороде. Хотя песня старого города и была спета как будто до конца, но в народе бурлило и можно было ожидать всяких кровавых неожиданностей. А души искали покоя и радости: ведь вот радуется же вокруг солнышку вся тварь земная, которую гордый человек неразумной зовет...

— А тяжеленько брести-то... — сказал маленький боярин, останавливаясь и вытирая

платом тихое, смуглое лицо, которое за последнее время заметно осунулось и постарело. — Гоже бы и отдохнуть маленько.

— Да уж теперь недалеко, мужики сказывали, — отозвался отец Григорий. — Надо поторапливаться, а то Шексна не пустит... Ишь, какая теплынь-то. И воды, воды!..

Он радостными глазами осмотрелся. Всюду играли, звенели и сверкали ручейки, и разливались по лугам озерками, и снова бежали, играя и веселясь, как живые.

— Ну, коли так, пойдём... — согласился боярин, движением плеч поправляя котомку. — В монастыре отдохнём...

И снова зашлепали они лаптями по раскисшей дороге и сияющим лужам. Тучин был одет по-мужицки. Его давно уже тяготила мишура жизни боярской, и в этой сермяге и лаптях он вдруг обрел не испытанную прежде радость. Он шел и радовался на то, что происходило в его душе: в ней точно шел уже какой-то веселый весенний ледоход, уносивший старые оковы...

Они миновали напоенную солнцем и нежным запахом талого снега рощу и вдруг неожиданно вывернулись на берег Шексны. Тут стояла пустая еще хибарка перевозчиков, около которой блаженно дремали на солнце свежееосмоленные, пахучие лодки. На бурой проталине, над

вздувшейся рекой сидел седенький странник с мягкими голубыми глазами и непыратой бородкой.

— Мир дорогой... — приветствовал его отец Григорий.

— Мир дорогой... — отвечал тот певуче и ласково. — Садитесь-ка вот рядышком да отдыхайте... В обитель пробираетесь?

— В обитель...

На том берегу среди темного леса виднелись главки Кирилло-Белозерского монастыря. О переходе и думать было нечего: закрайки были широки и лед местами уже взбучило. Веселый низовой ветер нетерпеливо метался над рекой, точно торопя ее...

— Того и гляди, тронется... — сказал старик. — Придется переждать... Вот пожужим сухариков, водички напьемся — да в землянку к перевозчикам спать...

— А ты чей будешь? — спросил отец Григорий.

— Да теперь почитай что ничей... — отвечал странник охотно. — А раньше рязанский был. Да случился у нас мор великий, семья моя вся померла, Господь прибрал, а мне, старику, что одному дома-то делать? Вот бросил все от греха да и хожу так по монастырям...

— Грех везде один... — сказал тихонько Тучин.

— Может, оно и так, да дюже у нас боярин-вотчинник сердит... — сказал старик. — Так поедом и ест народ. Сколько по приказам этим мужики таскались, что денег приказным переносили, чтобы управу на него найти. Да нешто с их что высудишь?

— Так взяли бы да к другому помещику ушли... — сказал отец Григорий.

— Ах, чудак человек!.. — добродушно засмеялся старик. — Это сказать легко: переходи... Подняться с места тоже силу иметь надо. А тут могилки родительские, родня по деревням, привычка. То да се — вот и терпят... А я бросил все да и ушел: живите как хотите. Вот переправимся в обитель, помолимся, поглядим, а придет пашенная пора, поработаю на старцев да и дальше, коли что, пойду.

— А звать-то тебя как?

— Терентием звали...

Отец Григорий, усевшись на проталинке поспособнее, развязал свою сумочку и достал сухарей, серой соли, две луковицы да нож ржавый. И ему была любя эта бедность добровольная, и его душа радовалась, что хоть на время сбросила она с себя цепи обыденщины...

— Ну-ка, боярин, бословясь... — протянул он на ладони Тучину разрезанную пополам луковицу.

Терентий при слове «боярин» поглядел

исподтишка на Тучина, но тут же решил, что, должно, в шутку так величает поп дружка своего: очень уж тот прост был да тих...

— А вы беспременно у преподобного добивайтесь, чтобы старца Нила повидать... — сказал он. — Хоша по годам-то он еще и не старец совсем, а по мудрости да подвигам любому старцу не уступит. Только вот не любит он досаждения, удаляется ото всех, и трудно добиться, сказывают, к нему...

Ласковыми глазками он смотрел на вздувшуюся реку, на кружившихся над полыньями чаек, на ясное небо, и видно было, что всему он радуется. Отец Григорий с Тучиным макали сухари в жестяной ржавой кружке, в которую поп талой воды набрал — как слеза чиста и светла была вода... — и, пососав, с удовольствием жевали пахучий хлеб.

— А какую я, братцы, сказанию дорогой слышал... — сказал старик. — Стих калики перехожие пели. Ну, только память-то у меня дырявая, по-ихнему, складом-то, я пересказать не могу, ну а самую сказанию-то запомнил. Насчет Аллилуевой жены называется...

— Какой жены? — удивленно посмотрел на него Тучин.

— Аллилуевой, родимый... — ласково пояснил Терентий. — Вот что в церкви батюшки

поют, так про нее... Когда, вишь, Христос родился, касатики вы мои, антихристы-жиды захотели предать Его злой смерти. Кинулась это Богородица со Христом в келью к Аллилуевой жене, а та печь топит, а на руках младенца своего держит. А Христос и говорит ей: «Ох ты, гой еси, Аллилуева жена милосердна, кидай ты свое детище в печь, примай Меня, Царя Небесного, на белые руки!..» Аллилуева жена сичас же свою дитю в печь бросила, а на руки взяла Царя Небесного. Прибежали жидове-анхереи, антихристы, злые фарисеи и спрашивают, куды она Христа схоронила. Она и говорит, что кинула-де Его в печку. Заглянули жидове в печь, увидели в огне младенца и заскакали, заплясали, печку заслонами затворили. Тут петухи запели, дружки вы мои разлюбезные, а антихристы-жиды пропали, словно их и не было... Отворяла тогда Аллилуева жена заслон, слезно плакала, громко причитала: «Уж как же я, грешница, согрешила, чадо свое в огне погубила!..» А Христос и велит ей в печку поглядеть. Заглянула она в печь и видит там вертоград прекрасный, а в вертограде том травонька муравая, во травоньке чадо ее гуляет, с анделами песни воспевает, золоту Еуангельску книгу читает, за отца с матерью Бога молит — аллилуγια, аллилуγια, аллилуγια, слава Тебе, Боже!..

И Терентий умиленно перекрестился на главки-луковки... Тучин затуманился: не любил он побасок этих несмысленных!..

— Вот и разбери тут, какое горе для Руси тягчайшее: то ли татары эти окаянные, то ли вот аллилугии эти... — вздохнул он. — Те грабят, кровь народа сосут, а эти души погубляют...

Терентий не понял его.

— Все может быть, родимый... — кротко сказал он. — Все может быть...

Он стал рассказывать опять что-то отцу Григорию, а Тучин, глядя на главки, думал свою думу. Что найдут они там, за рекой? Не новый ли блуждающий огонек? Что нашел тут в лесах старец Кирилл, что основал эту обитель?

Кирилл Белозерский происходил из очень знатного рода бояр Вельяминовых. С ранних лет, когда был он, сирота, на попечении родича своего, окольного великого князя Дмитрия Ивановича Донского, вперил он мысль свою к Богу, прилежал к церкви, предавался посту и молитве. Наконец он тайно принял монашество в подмосковном Симонове монастыре. Он подвизался неумоимо: носил воду, рубил дрова, работал на пекарне. Сергей Радонежский часто навещал его и подолгу с ним беседовал. Когда архимандрита перевели от Симонова в Ростов, братия выбрала Кирилла игуменом. К нему стали стекаться для беседы

князя и вельможи, но он, чтобы избавиться от этого, оставил игуменство. Новый игумен возненавидел его — и в монастыре страсти человеческие так же сильны, как и за стенами, — и Кирилл ушел в другой монастырь. Раз, когда он пел акафист Богородице, раздался вдруг голос, звавший его на Бело-озеро, где ему уготовано место для спасения. Он открыл оконце своей келий и увидел это место, как бы перстом ему указуемое. Некоторое время спустя пришел к нему с Белозерья дружок его еще по Симонову монастырю, Ферапонт, и стал расхваливать те дикие места для отшельничества. Они пошли вместе. И после долгих скитаний Кирилл увидел вдруг место, которое ему было указано в видении. Они тут же поставили крест и стали ладить себе землянки. Некоторое время спустя Ферапонт, уязвленный любовью к безмолвию, отошел от Кирилла верст на двадцать пять и там, при озере, поставил себе отдельный монастырек...

Монастырь Кирилла стал расти. Кирилл держал строгий устав и первый подавал пример исполнения его. Монахи расчищали лес, разводили огороды, пахали и косили, как крестьяне. «А питались они лыками и сено по болоту косили». Кирилл избегал сношения с великими мира сего, не принимал от них ни земель, ни даров. Частная собственность была запрещена настолько строго,

что иноки даже воды испить ходили в трапезную. Когда князя извещали Кирилла, что они приедут побеседовать с ним, он умолял их не делать этого, грозя в противном случае скрыться из обители. Но издали он следил за ними и иногда посылал им увещания: «унимать люди своя от лихого обычая» и чтобы были они внимательны к нуждам простого народа и не позволяли бы в вотчинах своих корчмы: «Крестьяне ся, господине, пропивают, а души гибнут». Он учил их, что добрая жизнь выше поста и молитвы: «Понеже вы, господине, поститися не можете, а молитися ленитесь». В свободное время он «с великою дрожью» занимался списыванием тех книг, в которых Тучин находил столько тяжкого...

И вот лет пятьдесят тому назад старец преставился, а обитель его, «искажая пустынь», стала процветать. На другие обители она не была похожа тем, что устав ее был очень суров, и тем, что тут иноки имели известную свободу «мнения», которое исстари почиталось православным духовенством «вторым падением», «всем страstem матерью...».

Что тут правда? Что «плетение словес»? Неведомо. Ведомо только то, что житие преподобного составлял тот самый Пахомий Логофет, который долго болтался в Новгороде, а потом перебрался в Москву и был известен как

мастер в изготовлении таких житий. В Новгороде он писал в духе, угодном новгородцам, а в Москве потрафлял москвитянам. Тучин не раз встречал его: великий пройдоха был этот сербин!..

И Тучин вдруг подвел итог своим думам.

— А зря, пожалуй, пошли мы с тобой, отче, в такую даль... — сказал он пригревшемуся на солнышке отцу Григорию.

Тот сразу уловил ход мысли своего дружка.

— Зачем зря? — сказал он. — От людей всегда чему-нибудь да научишься. А это, — обвел он вокруг восхищенными глазами, — разве плохо? Утешение!..

Тихий вечер уже догорал. По земле легли сиренево-пепельные тени. Морозец легкий ударил. Терентий развел в лачужке огонек, и скоро, помолившись каждый по-своему, все стали примащиваться на жестких нарах.

— А вы, поговору-то слышать, новгородские будете? — спросил Терентий, разматывая лапотки.

— Новгородские... — отвечал отец Григорий.

— Слышал, слышал про дела-то ваши!.. — покачал головой старик. — Здорово вас Иван-то скрутил... С им, знать, не шути...

— Лутче ли будет? — затуманился попик.

— Ну, откуда лутчего взять? — усмехнулся старик, разматывая духовитые онучи для просушки. — Эту самую игру их смертную я ни во

что полагаю... Ты заметил, когда стадо домой идет, кто в голове его первым домой чешет?

— А кто? — заинтересовался отец Григорий.

— Это ты заметь: первыми всегда дуют свиньи... — улыбнулся Терентий. — Так и у людей: в Москве ли, в Новгороде ли, впереди всегда свиньи...

Отца Григория поразила меткость наблюдения, и он тихонько толкнул Тучина локтем.

— А ежели хочешь ты пройти жизнью почище, — продолжал, управляясь с онучами, бродяжка, — то в сторонку норови, в сторонку, вон как батюшка Кирилл преподобный... Так-то вот... А теперь спать давайте. Может, Бог даст, к утру-то река двинется...

Он улегся, глубоко вздохнул и с глубокой печалью вдруг проговорил:

— Кому повем печаль мою, кого призову к рыданию?.. Токмо Тебе, Владыка мой, Создателю и всех благих Подателю!..

На реке шла в звездном мраке глухая возня, тонкий звон стекла, шлепанье, плески... И около полуночи вдруг вся тихая черная земля исполнилась ровным, торжественным шумом: то пошла Шексна...

## IX. В лесах

Радость безмерная затопляла глухой лесной край. Шексна, раскинувшись серебряными полоями, гуляла в красе несказанной. Птица точно голову от радости потеряла совсем: шумела на все лады, носилась туда и сюда, нигде от радости себе места не находила. Последний снег таял на глазах. Ручьи гомонили, звенели, сверкали. Стрежнем реки, самой быстринной, безудержным потоком неслись льдины, громоздились одна на другую, с плесканием рушились в холодную мутную воду, тяжело ворочались и иногда выносились в поемные места и там, среди густого тальника, застревали и, плача по зиме, точили в согревающуюся землю холодные, чистые слезы. Вся земля казалась живой, молодой, переполненной детской радостью...

И только на третьи сутки, когда по вздувшейся реке неслись одинокие уже льдины и неудержимо ширились вокруг светлые полои, странники перебрались с рыбаками на лодке на другой берег и по солнечной, раскисшей дороге направились к скромному монастырьку. На припеке, на солнышке стояла деревянная церковка, срубленная самими иноками, а вокруг нее были разбросаны убогие лачужки-келейки.

Путники остановились, не зная, куда им направить стопы. Вдруг из лесу, по просохшей уже на припеке тропке, тихонько напевая что-то, вышел молодой монах в оборванном и порыжевшем

подрянике и старенькой скуфеечке. И как только поднял он на гостей глаза, так сам весь точно сразу исчез: до того прекрасны были эти глаза! Огромные, бледно-голубые, они целыми снопами струили в мир теплый, ласковый свет. Все остальное в нем точно не нужно было, точно только рамой служило этим чудным, не от мира сего, глазам: и бледное, прозрачное, тихое лицо, опущенное белокурой бородкой, и это слабое, чуть сутулое тело, и жалкая одежонка, и лапотки липовые. И еще издали он поторопился первым поклониться гостям...

— Помолиться пришли? — со светлой улыбкой спросил он грудным голосом. — Милости просим, милости просим... Обедня только что отошла — пойдите пока ко мне в келию, отдохнете... А зовут меня Павлом... — улыбнулся он всем своим существом.

Павел был боярского рода. С молодых лет любил он подавать милостыню и часто, раздав не только все деньги, но и всю одежду, возвращался домой совсем раздетым. В начале XV века в уделе можайского князя, в селении Колоча, жил мужик Лука. Однажды он нашел в глухом месте на дереве икону Богородицы. Лука взял ее и принес домой. Сразу же поднялась молва о чудесных исцелениях от явленной иконы. Народ повалил к Луке со всех сторон. И вошел Лука в великую честь и славу. Он

отправился с иконой в Можайск. Князь с боярами и все граждане вышли к ней навстречу. Отсюда Лука направился в Москву. Там икону встретил митрополит со кресты и со всем освященным собором, князья, княгини, бояре и множество народу. Потом Лука стал ходить со своей иконой из города в город. Все его честили, как некоего апостола или пророка, и щедро оделяли всякими дарами. Таким путем собрал он себе великое богатство. Воротясь на родину, Лука построил монастырь для своей иконы, а для себя воздвиг светлые хоромы. Он стал жить по-княжески, окружил себя всякой роскошью и многочисленными слугами и отроками. Трапеза его изобиловала тучными брашнами и благовонными питиями. Плясуны и песенники взапуски увеселяли его. Начал он забавляться и охотою, выезжая с ястребами, соколами и кречетами, держал большую псарню и ручных медведей. Павел поступил было в этот монастырь послушником, но ему стало противно в этом вертепе, и он, наслышавшись о заволжских старцах, ушел в северные леса и поселился неподалеку от Кириллова монастыря в дупле старой липы. Так прожил он три года, молясь, воспевая псалмы и беседуя с птицами и зверями лесными: «Радуйся, течаше без преткновения и в вышних ум свой вперяя и сердце очищая от всех страстных мятеж». Впрочем,